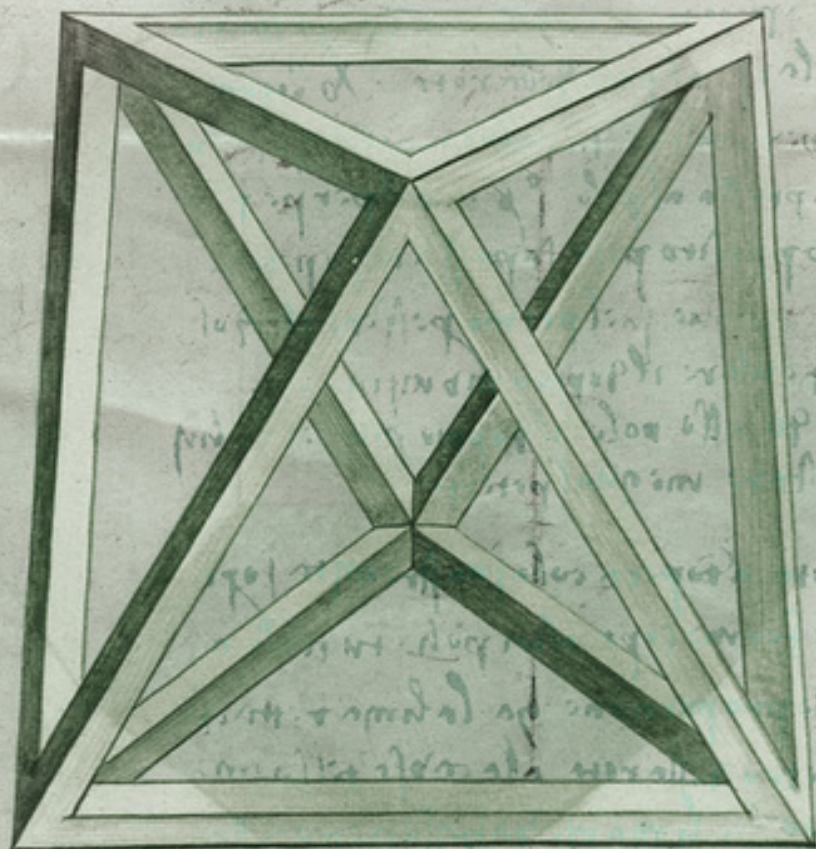


В Л А Д И М И Р

МАКАНИН

Долгожители



НОВАЯ АВТОРСКАЯ РЕДАКЦИЯ!

Владимир Маканин
Долгожители (сборник)

«ЭКСМО»

2014

Маканин В. С.

Долгожители (сборник) / В. С. Маканин — «Эксмо», 2014

Человеческая жизнь – это река с быстрым течением: одного сносит к счастливым берегам, полным надежды и уюта, другого – к берегам печальным, полным сомнения и душевной смуты. А третий так и плывет по течению, не останавливаясь, не причаливая, и жизнь его полна тревог. Герои маканинских рассказов – как правило – люди за тридцать, у них уже есть за плечами опыт любви и измен, они знают, как может предать лучший друг и как помогает порой лютый враг. И все же в их жизни есть место чуду и подвигу, настоящей верности и прощению!

© Маканин В. С., 2014

© Эксмо, 2014

Содержание

Долгожители	6
Антилидер	16
1	16
2	21
3	25
4	31
5	36
Ключарев и Алимускин	41
1	41
2	43
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Владимир Маканин

Долгожители (сборник)

© Маканин В., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Долгожители

По типологии (если в первом приближении) он был просто честный человек и *энтузиаст*. Однако жизнь нас прищипливает на конкретные булавки. Жизнь груба... Жизнь заставит определиться по жестче. А потому в своем исследовательском институте стареющий Виктор Сушков являл собой знакомый всем тип шестидесятых и семидесятых – он был, как вокруг пошучивали, **БОРЕЦ ЗА ПРАВА, БЕГАЮЩИЙ ПО КОРИДОРАМ**. Когда-то он был напористым комсомольцем... Когда-то активным профсоюзным деятелем... Теперь он был симпатичный шустрый старичок.

Едва слышав про какую-то несправедливость начальствующих, про их подлянку или обычный зажим рядового сотрудника, Виктор Сергеевич тотчас начинал собирать подписи. Это в нем осталось. Старый гвардеец... Суетлив, конечно. Однако в нескольких случаях он все-таки не дал выгнать человека с работы, а кому-то сумел – помог с жильем. А то и защитил женщину, не позволив ее травить... Само собой, хороший семьянин. Инженер Сушков, чуть что собирающий подписи!.. С этажа на этаж – торопится, бежит по коридору Института, и глаза так серьезны. Таким бы ему и запомниться! Но, увы, еще постарел... В маленьких честных его глазках проступило невостребованное. И жалкое. И уже не напирал, а просил. В руках, как водится, бумага. С письмом... С заявлением... С протестом... И наготове дешевенькая шариковая авторучка – отзовет в сторону, просит: подпиши.

Но люди в коридорах – они ведь такие! В большинстве своем хуже Виктора, они не сомневались, что они лучше. (Мы ведь такие.) Когда Виктор Сергеевич Сушков в 65-м ушел-таки на пенсию, эти самые люди, сослуживцы, кислили физиономию ему вслед. И меж собой характеризовали его, *романтика по-советски*, до обидности кратко:

– Зануда... Житья не давал.

А был еще Виктор Одинцов – давний по жизни (по юности) приятель Виктора Сушкова. Как тип – прямо ему противоположный, сам в себе. И совсем не говорун. Молчалив... Этаким рослый малообщительный мужчина... Скрытный (и удачливый) любитель молоденьких женщин.

Этот мрачноватый Одинцов был холостяк (оправдывал фамилию). И был он, вплоть до выхода на пенсию, фотограф. Но не классный. Просто работа. Заведовал фотоателье, что по тем нашим временам кое-что значило. *Мастро*... Человек, более или менее известный, если кружить возле метро «Таганская».

Штат его ателье был невелик – один качок-охранник и три-четыре девицы, не больше. Эти тонкие женские ручонки помогали Одинцову в его фототрудах и оформляли, как заведено, всякие платежи. Бумаги. Квитанции... Девицы были собой очень даже недурны. Что было видно уже сразу с улицы – через большое стекло его маленького ателье.

Поскольку начальник самолично решал, кого оставить на нехитрой работе, а кого нет, девицы от Виктора вполне зависели, и он этим вполне пользовался. Раз в два года наш мрачноватый одинокий Одинцов менял контингент и вновь им пользовался. Умел!.. Любопытно, что Виктор проделывал все это буднично, как бы нехотя. Лицом насупившись... И молчком. Такой вот мужчина. Жил с одной, жил с другой. (Начинал он почему-то с самой скромной, с дурнушки.) А то и с двумя сразу жил, разнообразя себе неделю. Но, кажется, тоже без страсти. Тоже спокойно. Только чтобы не мучили желания. (Не каждый же день большая любовь!..)

Однажды в середине дня заглянув к ним в фотоателье и не найдя Одинцова, я спросил у трудового народа, где Виктор Олегович. Не вышел ли куда пообедать старый седой барсук – и не сказал ли чего?

– Сказал?.. Разве он умеет говорить? – вмазала мне одна из девиц, и вокруг дружно захихикали.

– Едем порыбачить? На пару дней, а? – спрашивал мрачного Виктора Одинцова говорливый Виктор Сушков. Звонил ему... И они сговаривались. (Обычно после получения пенсии.)

– Едем.

Порыбачить – значило посидеть с удочками, слегка попьанствовать. Повспоминать молодость... Поностаальгировать. А что еще делать двум (наконец-то!) пенсионерам. Они это здорово придумали! Они посылали весь мир на хер. Запасясь продуктами, они съезжались и ловили рыбку. Забравшись в глухое Подмоскowie... Ночуя в развалюхе-избе.

Приезжал иногда к ним и я.

Но в их разговорах было кое-что еще. Кое-что удивительное!.. Оба Виктора ощущали себя долгожителями. Они это обнаружили вдруг. У них обоих, как выяснилось, бабки и деды жили по сто лет... Разве это не обяывает? (Жить!) Разве это не вдохновляет?.. Так что даже теперь, на пенсии, жизнь обоих Викторов отнюдь не кончалась – вся их долгая жизнь была еще впереди.

Когда они, оба в азарте, заводили речь о своем сокровенном, казалось, оба слегка спятили! Сколько жара, огня!.. Долгожительство стало их идеей, их пунктиком. Их восклицательным знаком!.. Открывшимся (наконец) смыслом их бытия.

Кстати сказать, Виктор Сушков и я тоже могли бы поговорить о прочем-разном. Виктор Сушков мой земляк. Из Оренбуржья, и даже район один. Тоже ведь можно было повспоминать. Подергивая удилищами. Попивая водочку... Припомнить словечки. Оживить давний лесок, холмы – географию детства.

Однако же нет! В основном разговоры вели они – два Виктора. Их было не перебить. Мрачного Одинцов тоже к этим годам разговорился! (Выйдя на пенсию!) Именно долгожительство (притом соревновательное, кто дольше!) стало любимым их сюжетом. Будущие долгие-долгие дни – вот что их привлекало. Вот что подталкивало заскучавшую было у реки мысль... Будущее манило. Будущее (почти бесконечное) их ждало – и они смело шагали ему навстречу. В конце концов, пенсии им хватает. Много ли им надо!..

Это будущее завлекало, как завлекает, скажем, игра на деньги. Или как под парусом. Они поймали ветер!.. Я с трудом их понимал. Но что-то я тоже чувствовал. Задевало... Некая абстрактная светлая даль. Невозможно было не почувствовать их живой восторг, их упоение нечаянно найденным кладом.

А шуточные «дарственные» друг другу! А завещания! Это уж точно был род азартной забавы. Интеллектуальная игра ничем не занятых стариков. Происходило это изысканное действие картинно: оба Виктора, безмерно гордые, обменивались «бумагами». Самосочиненными текстами. Галантно... Из рук в руки... При свидетеле (в моем, скажем, присутствии) – тексты зачитывались. Когда знаешь, что проживешь сто лет, завещать – это большая радость. У костра – вслух! С удовольствием. Со вкусом... С повторением выигрышных словечек. Юридические скользкие термины. Крючковатые фразы. Весь этот бред нотариальных контор.

Зачитывалось, перечитывалось, пересмеивалось и... сжигалось. Вот оно, наше наследство. Гори!.. Благо костер в шаге. Что-то здесь было от киношного сжигания денег. Сначала, как бы дразня «наследника», колебались: еще только держали уголком бумаги у самого края огня. Языки пламени тянулись, лизали. И наконец огонь получал... Хватал... В какую-то секунду огонь поглощал этот опус, так мгновенно исчезающий, но так смело заигрывавший с вечностью.

– А вот тебе еще. Послушай!

– Ну-ка...

– Дарю... Отрываю, можно сказать, от сердца, – начинал один из Викторов зачитывать другому свое новое дарение.

Жизнь человека и жизнь вещи... Невозможность (или все-таки возможность) противостоять Времени. Каким-то косвенным образом то и это в их игровой забаве увязывалось. Сказать, что «совки» запоздало ощутили (наконец-то) вкус собственности, мне не хочется. (Мелковато.) Скорее уж напротив. Их, долгожителей, забавляло бессилие вещей. Обреченность вещей... Их это поддразнивало. Их щекотало... И чего-чего только не отдавалось! Так гр. Виктор Одинцов завещал после своей *нескорой* смерти гр. Виктору Сушкову свой старенький «жигуль» (который, как оба прекрасно знали, не протянет и двух-трех очередных лет). В другой «бумаге» он оставлял тезке-долгожителю чайный сервиз, *недорогой, но хрупкий* – терявший, как все мы знали, чашку за чашкой в наших частых чаепитиях у реки. И в подпитиях тоже... Мы всё пили из чашек.

Зато Виктор Сушков, как все бывшие романтики, не умел сосредоточиться на ценном и завещал гр. Виктору Одинцову чаще всего *Разное...* *Стертый коврик*, что будет позаимствован из коридора их исследовательского института... *Книгу жалоб*, выброшенную из местного магазинчика. (Ее выбросили попросту: прямо в окно. В траву.) Суровую *переписку* некоего гр. Боброва с жэком!.. В азартной необходимости дарить и дарить они завещали любой попавший под руку (и под ногу) предмет и всяческий хлам. Пустую бутылку из-под марочного коньяка! Ботинок бомжа! Кепку азербайджанца!.. Завещали они друг другу, но и нам вдруг тоже перепадало (за компанию). Маньяки!.. Они пьянели от немыслимо долгих лет своих дедов. Они захлебывались от избытка здоровья и своей возможности жить бесконечно.

Иной раз вдруг чувствовался натуг их веселья. Чуть-чуть пережим. Это правда... Но ведь забавно! И потом – вокруг дикая природа. Глухое место. И кому здесь не захочется жить вечно... Забытая людьми речка. У догорающего костра!.. И ведь так нечаст смех в рядах потерятого и потерянного нашего старичья. Среди сотен и сотен ноющих. Среди тысяч жалующихся на болячки!

Соревнуясь в абсурдной щедрости (и не сомневаясь, что он переживет всех), Виктор Сушков, сидя у костра, передал мне однажды (знай наших!) бумаженцию, где в здравом уме и твердой памяти завещал после смерти не что-нибудь, а свою квартиру. Он, кажется, уже и не знал, что дать. Он отдал бы все. Щедрость распирала!.. Он только хихикал... И ведь сам не бросил в костер, не дал огню... как расхрабрился!.. Конечно, ноль. Конечно, без нотариуса. А все же бумага! А я его еще поддразнил – подержал бумагу у пламени. Но не сжег. И, вчетверо сложив, сунул в карман.

Однако же шутивно разбрасывающийся своим добром Виктор Сергеевич Сушков ничуть не рисковал. Знал, что переживет меня, – это было ясно. Притом надолго!.. Один его дед прожил ровно сто, другой даже перескочил, перебрался, перемахнул через этот странный психологический бугор – 101!.. А про древних суматошных бабок Виктора и говорить нечего. Большие были любительницы покушать! Оладышки! Огурчики! Окрошка!.. Когда ударяешь на «о», живешь долго. Похоронив своих мужей, бабки, конечно, тоже когда-то померли. Но померли они, лет своих (*пardon, после ста пяти*) совсем уже не считая – зачем им счет? какой смысл (без мужей) было им знать или не знать свою цифру на выключенном секундомере?!

Так что не стоило мне надеяться на его *квадраты* (квадратные метры подаренной им жилплощади). Нет надежды. Даже и втайне!.. Виктор Сушков вполне уверил меня, что умрет, как умерли его деды – после ста лет и во сне. Умрет счастливо. Как все они.

А для некоторого с ними контраста – Вась-Василич. Тоже один из нас. Тоже потенциальный долгожитель. Один из стариканов, приезжающий к ним, чтобы порыбачить. (Все мы приятели по юности.) И тоже один из тех, кого странно будоражили эти восхитительные вечерние разговоры у костра. И воздух с реки! И еще выпивка!

Этот Вась-Василич все же старался обоих Викторов хотя бы слегка одергивать – игра, мол, их нехороша. Провокативна. И этим опасна... Сам Вась-Василич был в игре с небесами

куда более осторожен! Тоже долгожитель (по замыслу), он, однако, не пробалтывал свое будущее. Он его лелеял. Он его оберегал. Скрытный, он избрал по ходу жизни иную тактику. Тоже ведь неплохую. Он – без конца жаловался:

– Куда мне!.. Да ну!.. Хоть бы пяток лет еще проскрипеть!

И нарочито суеверно – ох-ах! – Вась-Василич кривил узкий, лукавый рот:

– Хоть бы за семьдесят переползти на карачках.

А поутру честные рыбацкие рассказы. Сошла с крючка щука. Окунь в полкило... Окунь кувырчался уже на берегу, уже в траве!.. Свяжи-ка ему руки, чтобы он не показывал, какой был окунь... Шли к реке проверить донки. Речка невелика и вполне подмосковна. Однако же у Виктора Сушкова два окуня. И у Вась-Василича два. А у меня аж три, и каких крупных!

Зато у одинокого Одинцова полный штиль. Три окуня – это не пережить! Три – это слишком, с ума сойти... Виктор Олегович Одинцов сердится.

– Мерзкий везун! – грозит пальцем в мою сторону бывший фотограф.

Мы смеемся. А он (инерция вчерашнего разговора) опять вспоминает о своих живучих дедах. И страшит меня:

– За везучесть – заплатишь. За каждого окуня по десятке... Тебя я переживу на тридцать лет – ты хорошо слышишь?

Смеемся...

Как раз восход. Река, а с ней и зелень вокруг – все озаряется. Берег сияет. Чего тут мелочиться! Да переживи на сколько хочешь!.. Солнце на реке – это и есть сто лет.

Виктор Одинцов иногда приходит в свое бывшее фотоателье. Приходит – но не входит. Там нечего делать долгожителю... Он рассматривает с улицы новых там девиц. Они на своих боевых местах. Они все новенькие... Увы, уже нет над ними его бывшей маленькой власти. Разумеется! Нет и бывшего удовольствия выбрать. Жизнь меняется! Однако большое окно (большое стекло без единой трещины) все то же. Прищурясь, можно отлично рассмотреть молодых тружениц, так ловко устроивших свои попки на вертящихся стульях. Смотри или не смотри – стекло прозрачно! Вроде бы оценивая рекламные снимки, седовласый Виктор Олегович Одинцов еще и еще постоит там. Посмотрит, а почему нет?.. Он никуда не торопится.

...Виктор Сергеевич Сушков, пенсионер, шестидесяти восьми лет, умер у себя дома – в одночасье и во сне. Не дернулся, не разбудил жену. Никого не всполошил... Сонный и счастливый умер.

Врачи объяснили родным уже после – инсульт.

Во сне, как и обещал. Ну да, со сроком он несколько напутал и поспешил. Поторопился. Это правда... А сравнительно с дедами он даже сильно забежал вперед. Бывает. Зато – во сне.

Умер и умер, и было бы как обычно... Поплакали б, сожгли, всё как у людей. И жили бы дальше. Не он первый... Если бы не один тонкий момент. Нашли завещание. Оказывается, Виктор насчет возможной своей смерти оставил несколько строк.

Скорее всего, это была импровизация, этакое нечто, некий всплеск его души. Фантазия! Продолжилась, скорее всего, та же забава в написании красиво сочиненных бумаженций – заигрывание с будущим. (Игра своих героев не забывает!) Сел – и готово. Не зная, в сущности, зачем. Настроил... А просто так.

И лучше б, разумеется, это его краткое сочинение не нашли вовсе или нашли попозже. Лучше бы всего, если бы после похорон. Какое-то время спустя.

Но теперь сюжет заработал: родная сестра Виктора, дама положительная, учительница средней школы, увидела на листке кольнувший ей сердце знакомый почерк. Наклон букв, узнаваемый ею с детства. Прочла. Вот оно что!.. Виктор, ее старший брат, в здравом уме и твердой памяти написал, что после своей смерти он ЗАВЕЩАЕТ – он просит похоронить его в родном Оренбуржье, в разрушенной деревне, где жили по сто лет деды и где уже давным-давно нет ни

одного дома, ни стен, ни даже одиноко торчащих печных труб. Но все же там есть кладбище... Пока что есть... Остатки старого кладбища, которое он, Виктор, года два назад посетил с большим интересом.

Виктор Сушков и в игре (а я уверен, что завещание было игровое) оставался романтиком. Виктор прибавил подходящий к случаю образ. (Увиденный им на кладбище.) Мол, покосившиеся там кресты, как пьяные.

Виктор Сергеевич даже счел их старинным счетом. Он не написал, что их восемь или, скажем, около десяти. Он сделал приписку: мол, их, неупавших, мало... Маловато уже там осталось – их *меньше дюжины*. Крестов.

Как ни люби, а оторопь взяла. Поплакали, погоревали, однако же, перечитав заново про дюжину стареньких крестов, которые отсюда за тысячу километров, вдова Виктора Сушкова и его дети (взрослые уже) призадумались. Дело-то трудное. А с временем известная напряженность. Умерший не мог лежать долго. Лето. Солнце. Власть не полежишь.

Свинцовый гроб, допустим, они за большие деньги достанут. Успеют. А спецвагон? А сопровождать?.. Везти до Орска 36 часов – неплохо, а?.. Родные страдали по умершему. Но теперь они страдали вдвойне: утрата, а к ней в придачу еще и невыполнимость его дурацкой (да, да, дурацкой) последней просьбы. Сожалели, что вообще нашли эту записку-завещание (ну чтоб неделей позже!). О чем он только думал?.. Уже и сестра его, самая строгая из всей родни, учительница, педант и все такое, которая поначалу так громко на всех прочих родственников сердилась и требовала точка в точку выполнить волю покойного, теперь и она не настаивала. Как-то сникла.

Окружающие тем более расслабились. Сначала шепотком, а затем в голос все они Виктора Сушкова осуждали: ну, блин! Ну, удумал! Какие вдове и детям хлопоты. Да и сестре родной как удружил!

– Дети сделают... Я сделаю... Выполним волю, – повторяла им строгая сестра-учительница.

Но повторяла не так уверенно. Родственный ген уже не стоял на страже... Да и время пошло на часы. Переговорив меж собой заново – без пыла наконец и без амбиций, решили прежде всего проблему по-родственному упростить: сжечь.

А вот прах покойного захоронить. Это уже дело другое... Захоронить уже без нервической спешки и (да, да, да!) в далеком Оренбуржье. Как он хотел. (Как он просил.) На старом дедовском кладбище.

Сжечь – это было даже правильнее... Сжечь старика-пенсионера, написавшего столь вдохновенное завещание, было вполне в стиле. Кремировать, сжечь, спалить в печи романтика, который полжизни собирал подписи в защиту обиженных, – в этом виделось высокое соответствие. Как-никак сама стихия – торжество огня!.. Пламя!.. Пепел!..

Сожгли.

Хованский крематорий – ведь тоже, если от процесса отвлечься, звучало вполне возвышенно. Какие имена, Хованские да Милославские, кто не слышал!.. Но вдруг оказалось – и тут не слава богу. Ну не везло нашему Виктору, не везло старику!

Для начала нате вам, родственники, еще имечко: Течкин. Прямо сказать, имя не самое величавое. Не звучит... Однако же зазвучало. И еще как! В газете «Аргументы и факты»... Скандальное в те дни разоблачение *оператора кремационных дел* Николая Течкина. Напутал оператор Течкин или не напутал? Пьян был – или не пил?.. Склоняли его в газете так и этак... Склоняли даже тогда, когда бедолагу с его работы уже выгнали. Не посочувствовали ему. Ишь народный умелец! Рационализатор Течкин!.. Так и писали, с издевкой. С такой-растакой фамилией, пшел вон, холоп, – вон из огненно-пепловой Хованской вотчины!

Этот Течкин, как выяснилось, сжигал сразу четверых в сеанс. После чего неповторимый человеческий пепел делил на четыре горки. (Кому что придется.)

Обнаружилось, конечно, случаем. Один из клиентов, забиравший прах родича (сожженного в ту же пятницу, что и наш Виктор Сушков), напутал и ошибся с временем. Клиент заявился в кремационную в тот же день... Слишком рано. Какой быстрый! И еще поглядывал на часы... Его почему-то не остановили. В пятницу! В пятницу бывает!.. Самодетельно он тогда стал ходить-заглядывать. Для храбрости слегка даже насвистывал... Искал... И забрел не туда... Не туда, где ждут, белея, урны, а случайным образом вышел напрямиком к выгребателю, то бишь к оператору. К Течкину.

Оператора кое-кто пытался оправдывать, опять же пятница, пьян, шары налил. Но не чудовище он, конечно. Человек!.. Не со зла... Однако трудно оказалось даже объяснить, ленился ли поддатый Течкин выгребать каждого отдельно? ошибся ли?.. И вообще как такое ему удалось – каким образом, нарушив строжайшую технологию, останки смешались? Этого не могло быть!

Но факт фактом: клиент самолично видел, стоя неподалеку (и от увиденного онемев)... Этот Течкин... В белом опрятном халате... Молча... Своей длиннющей кочергой делил прах на четыре кучки.

А как негодовали родные Виктора Сергеевича Сушкова! И без того уже последнюю волю покойного они сильно упростили (сожжением). А тут еще нате: достался из печи пепел, на три четверти чей-то чужой. (И это если арифметика здесь в силе. Если честные арифметические дроби и с пеплом в ладу. Хотя бы на верную четверть...)

Но что теперь поделывать! Что?.. Все ходили мрачные. Не глядели друг на друга. Досталось ли нам *хоть что-то наше* в полученной в конце концов урне? – почти метафизический вопрос, который нет-нет и возникал – и особенно возмущал сыновей Виктора Сушкова, взрослых уже мужчин. Особенно же младшего сына. Его еле удерживали, когда он, двадцатипятилетний, рвался в бой... Самый рослый, хотя и младший, он грозился отыскать умельца. Отследить и избить Течкина его же собственной, мать его, кочергой.

Младший стал мрачен. Мрачный, хотя и красивый парень... Дело в том, что младшему добавилось еще одно: как раз ему выпал жребий везти беленькую урну в поля Оренбуржья.

Я был у них в тот вечер. Вдова Виктора и его строгая сестра, учительница, крутились на кухне. Гремели посудой, озабоченные предстоящей едой. Они в выборе не участвовали. Их даже не звали.

– Петр Петрович! – кликнули было женщины и меня на кухню. Но я не пошел. Незачем.

Жеребьевка состоялась сразу же. При мне... Скрученные бумажки с именами сыновей вынимались из белой панамы. Кто-то один... Ну в самом-то деле! У каждого свое. Не ехать же, отрываясь от работы, всем братьям сразу. А каково было бы улаживать отпуска всем в одно время?

Я успокаивал младшего: рассказывал ему, как там прекрасно. Куда он поедет... Какие травы и какие ивы. Да, да, какие старые скрипучие ивы нависли там над речкой. Бедные и корявые, остались совсем в безлюдье. То-то скучают. Скрипят... Ивы... Возможно, что умерший Виктор их тоже имел в виду в своей записке. В своем завещании. Эгоистичном, конечно же...

Младший сын молчал. И только разок скрипнул зубами. Но едва ли в отклик старым над-речным ивам... Скорее всего, ему снова и снова припомнился Течкин, колдовавший с кочергой в руке над горячей горой общего праха. Придурок! Пьянь! Шиз!

А я знай рассказывал (стал говорлив в те дни). Я не мог заткнуться. Я теперь рассказывал младшему его дорогу – сначала поездом тридцать шесть часов, это он, впрочем, и сам знал. До Орска. А дальше еще час сорок минут до разезда – местным скучноватым поездом. И там еще пешком пять километров. Почти пять. На листке бумаги я набросал ему план-картинку... Прочертил указующие стрелки, где там заросшая дорога вдруг выпрямится и где один-един-

ственный (у сухого лога, не ошибешься) поворот. Пять километров. Но ведь пепел – не гроб нести. Я еще сказал ему: подумай, как тяжело могло бы быть... Представь себе... Подумай, как вы, три сына, горбатились бы по бездорожью с домовиной на плечах.

– И думать не хочу, – ответил младший сурово.

Младшему сыну Виктора Сушкова я рассказал и про зиму: про то, какая там зима. Окружающие поля, включая и само кладбище... Снега – до самого горизонта!

Зимой покосившиеся кресты увидятся не сразу. Хотя, конечно, для урны не велик труд отрыть ямку. Чем?.. Что за проблема! Не лопату, а *саперную лопатку*. Прихватить с собой...

Я, видно, не мог остановиться.

Сын сдержанно молчал. Затем негромко произнес:

– Надеюсь, вы не думаете, что я повезу туда урну зимой?

Но еще заметнее стал говорлив в те дни пенсионер Виктор Одинцов... После (или вследствие) смерти пенсионера Виктора Сушкова. От ощущения утраты. От потери... Он ведь жил теперь (жил и долгожительствовал) за двоих. Он даже интонацию перенял. Казалось, старинный приятель *завещал* ему свой легкий, чуть торопливый говорок.

Внезапная смерть в голове не укладывается. Виктор Одинцов был потрясен... И теперь анализировал, доискивался до причины – он искал, в чем же (или чем же) его тезка и друг юности так провинился перед природой?.. Собрат-долгожитель *приказал долго жить*. Но это не могло быть просто так. Это не могло быть случайно. Ведь с какой наследственностью! С какими генами!.. И всего каких-то *шестьдесят восемь!* Бред!

Ответ был все же найден. Вот он. Покойный Виктор Сушков, в отличие от него, Виктора Одинцова, мало интересовался в своей жизни женщинами... Не баловал себя случайной женской лаской – самой жадной из ласк! Заряжающей нас. Дающей нам силу!.. Женская постель – это сама энергия! Бок о бок... (Даже аккумулятор лучше заряжается лежа. Шутка.) Жена... Жена, понятно, тоже женщина. Однако же *в шестьдесят восемь!*..

Ах, Виктор! Виктор!.. Как поторопился!.. А ведь мог бы жить и жить. Если бы...

Окончательный вывод был таков: Виктор Сушков, если по сути, уклонялся от жизни. Проще сказать, пренебрегал женщинами – и природа (тоже женщина) завязала ему скорый узелок. Отмстила.

Нет, нет, Виктор Олегович Одинцов не осуждал старинного друга-приятеля. Да и как тут осудишь?.. Ведь и сам он, одинокий Одинцов, постарев, тоже в последнее время не подпитывал себя любовью. Ни с кем не встречался. Ни с одной... Подзабыл женщин, переключившись на пиво. Нашел чем радовать сердце! Кретин!.. Нет уж!.. Хватит!.. Теперь он все понял. (И все сосчитал!) Даже пенсионер, если прижмет, способен наскрести кой-какие рубли и сбалансированно, с умом их потратить. Конечно, теперь ему, Виктору Одинцову, придется, увы, побегать и поискать. Привыкший в былые времена в своем фотоателье к легкой смене партнерш, теперь он в поиске сколько-то помучается. Теперь и в выборе он будет, конечно, много скромнее, но... Но он сумеет. СУ-МЕ-ЕТ. Надо же как-то за жизнь биться!

Он очень даже скоро сумел. Найти ход... Наступившие времена позволяли.

– Найти ход к оплачиваемой красоте оказалось несложно. Опыт!.. Вы же помните, каким я докой был?!

Мы помнили.

– И хорошо, что язык вдруг развязался. Как шнурок... Без болтовни не только девицу, кошку хорошую не прикупишь, – нарочито сетовал он нам.

Нам – это мне и Вась-Василичу.

Но вот (я отлично помню) Виктор Олегович Одинцов многозначительно усмехнулся. Потер руки. Вынув записную книжицу, подсел ближе к своему телефону. Надел очки... Всмотрелся... И вздохнул так:

– Ох-хо-хоооо-о!

Водя глазами по мелким строчкам, Виктор Олегович рассуждал вслух сам с собой:

– Есть мальчик Вова, а есть мальчик Сема. Сему мне совсем недавно порекомендовали...

Я было решил, что старый мудило поголубел. Я даже охнул. Не отшибло ли горем мозги?..

Но выяснилось, что и Сема, и Вова мелкие сутенеры. «Поводыри» – как запросто называл их старый маэстро фотографических дел. Парнишки, имевшие на подхвате сразу нескольких скорых девиц.

– Сейчас, что ли?

– Конечно. Чего тянуть?.. – И седовласый Виктор подмигнул.

Мы колебались.

– Может, в другой раз?

– Вот еще!.. Секс не баня. Секс не откладывают на послезавтра. Трахаться – это как раз под разговор. С разгона!..

Он был убедителен:

– Ну, ну!.. Вы же домоседы, – когда это вы меня еще навестите!

Похоже было, что прямо здесь и сейчас, в его замшелой квартире, мы сможем себя убажить. Без всяких там комплексов. И в открытую, честно. Не как-нибудь!.. В конце концов, мы у него в гостях, а гость даже в пост может себе кое-что лакомое позволить. Без канители. По-современному.

– А что вам еще делать! – наседали Виктор Олегович уже в азарте.

У нас и правда ничего другого на сегодня не было. И было очевидно, что мы уже никуда не нацелимся. Разве что по домам... К телевизору... А рыбная ловля сорвалась уже с утра (ветер на улицах все завывал).

Приободрился, приосанился даже Вась-Василич, тот самый старикан, что тоже целил в долгожители, но своеобразно... По-тихому... Тот, что в будущее глядел постно, скромно, еще и униженно. Да, мол, последние денечки.

– Как поживаю?.. А плохо! Плохо поживаю! – жаловался Вась-Василич, уже с порога, едва вошел, отгоняя ладонью наш дешевый сигаретный дым.

И руку пожимал слабенько, еле-еле:

– Опять нездоров... Опять бок ноет.

– Перестань!

– Чего «перестань»? Тебе хорошо... Ты-то, мордаш, еще долго протянешь!

Или так:

– Вам хорошо. Вы прямо как добры молодцы!.. А у меня опять печень. Вот-вот дам дуба! А почки что вытворяют!

Нищенским и осторожным нытьем он явно замаливал своего божка, припрятанного где-то в высях. В высоких белых облаках... Он как-то сложно хитрил с Ним. Но не с нами. Мы-то его знали как облупленного.

Так что теперь, при секс-сговоре, Виктор Одинцов не упустил случая озаботиться (с ухмылкой):

– Вась-Василич!.. Тебе-то как?.. Не во вред ли молодая красotka будет?

– Не думаю, – посерьезнел Вась-Василич.

– А почки?

И, не дав ответить, Виктор убежденно заговорил:

– Почки – солдаты. Ты, главное, сам должен быть в себе уверен. Если ты уверен... Если ты – на все сто уверен... Тогда и твои солдаты, как один, будут стоять насмерть!

Виктор Олегович Одинцов знал, как жить жизнь. Знал, как ее продлить. Он не хотел больше о почках и прочих бедах Вась-Василича. К чертям почки!.. Он говорил о женщинах. Женщина – вот чудо. Женщина – вот импульс! Именно женщина длит нашу жизнь...

– Ну что?.. Звоню? – И Виктор Олегович поглаживал телефонную трубку, уже предвкушая.

Похохатывал и поддразнивал:

– Сейчас она придет... Та девица... Моло-оденькая!.. А?

Однако же его собственная жизнь не продлилась. Увы... Женщины, как видно, запоздали. Женщины недодали Виктору свой импульс. Или, быть может, женщины не самым решающим образом влияют на долгий век. Загадка!.. Так или иначе, Виктор Одинцов пережил своего тезку Виктора Сушкова всего на полгода. Но все-таки – *в шестьдесят девять*. Умер он от сердечного приступа. В метро.

Ту девицу звали своеобразно – Алехандра, и была она *за пятьдесят* (не про возраст, конечно, а про доллары). Нам же надо было *за двадцать*.

Славненькая, ладненькая, из Сумской области... Ослепительно голые, манящие южным загаром колени, хороша, очень хороша! – но какие крутые (для нас) деньги!.. Нас возмутило... Вась-Василич даже вышел из себя!.. К чему такая дороговизна! К чему это латино-московское имечко? Нам не надо... Долгожители не тщеславны! Наша эстетика скромна!..

А парень-поводырь, что ее привел, Сема или Вова (не помню), все улыбался и оглаживал девицу. Поощрял нас сначала словом – а затем делом. Положив руку ей на шею и простежки принагнув, поставил Алехандру в боевую позу... К нам задом... И тут же задрал ее короткую юбочку. Там уже не было ничего. Вернее сказать, там было все.

Он послунывил указательный палец и все еще с улыбкой объявил нам:

– Фокус.

И провел пальцем. Как художник кисточкой... Провел пальцем сверху вниз по сомкнутым губам (пока что по сомкнутым, так это понималось). Надо сказать, провел он нежно. Мог обжечься. И руку сразу убрал... И чудо случилось.

Парень прищелкнул пальцами:

– Фокус! – и как раз при щелчке губы раскрылись.

Девица стояла согнувшись. Спокойно стояла... А ее раскрывшееся лоно было как само по себе. Как рот. Как губы, приоткрывшиеся в жажде. Пересохшие, они хотели. (Нас потрясло. Долгожители онемели.)

Двое из нас стояли, разинув варежки, а третий – это я – крепко держался руками за стол.

Припозднившиеся, начавшие стареть еще при коммунаках, мы, понятное дело, оказались вдруг сильно смущены. Имели свои белые пятна. Пробелы... В недомашнем сексе... Никогда не видели, как дверца открывается сама собой. Много чего не видели.

Конечно, время рвануло, и теперь мы наверстывали. Но наверстать – не значит догнать... Мы проигрывали и этому сопляку Вова. И его Алехандре. И тут уж ничего не поделаешь... Зато у нас взамен кое-что впереди. Зато какой плюс у нас в будущем! Имеется в виду отдаленное будущее. Нет же ни малейшего сомнения, что малогрешному (малогрешившему) нашему поколению зачтут на небесах. Уж точно в плюсах... Если бы еще не воровство!.. Вдоль и поперек по жизни.

Если бы не разного рода и качества воровство, большинство из нас, «совков», попало бы в рай легко. Мы просто созданы для рая... Вышколены... Большинство из нас, убежден, оказалось бы в раю сразу и прямым ходом, без проверки на дорогах. Даже без собеседования.

Онемели – а вертикальная маленькая дверца еще на чуть открылась. И ждала. (Тут и подумалось о рае. О пропуске в рай... Вот оно.) Мы смотрели. Онемели и смотрели. Мы даже слюну не глотали. Я же говорю: без собеседования. Золотые и серебряные медалисты!

Нам ударило в голову. Нам что-то там отшибло. Жаль, конечно, что ничего перед этим не выпили. Ни глотка... Хотелось же выпить, еще как хотелось! Но Виктор за нас боялся и загодя выпить не дал. Такой предусмотрительный. (Вино, мол, расслабит.)

А парень тут же джикнул молнией на своих блеклых джинсах, вынул и ей вставил. Прямо на наших глазах.

– Ну что? – сказал он.

Сделав три-четыре движения, он вернул эротическую картинку на место. Он ведь только демонстрировал. Напомнил. Возможно, он думал, что мы подзабыли. Он еще и еще глянул на нас: все ли понятно?.. Затем деловито кашлянул... И первоначальную картинку наконец убрал, распрямив девицу. Но юбочку ей не опустил. Жопка так и сверкала.

Еще секунду они стояли рядом и спокойно ждали. И только тут, одернув юбку, она повернулась, и мы могли увидеть ее холодноглазое лицо.

– Нет. Пятьдесят – это дорого, – еле выговорил Виктор Олегович Одинцов пересохшими губами.

Мы молчали. Мы дышали. (Мы слышали дыхание друг друга.)

Парень и девица направились к дверям:

– Идем-идем, Алехандра! Эти мудаки окаменели дня на четыре. Представляешь, какие у них сейчас члены!

В дверях он обернулся:

– Вам что – копеешных привести?

Виктор Одинцов покачнулся, удерживая равновесие. И вдруг оперся рукой о стол... Бледный, он, однако, повторил прежнее:

– Двадцать – потолок. Не дороже.

Парень хмыкнул:

– Ладно. Через часок... Но едва ли... Если получится такую найти – звякну.

Антилидер

1

Внешность выдавала его. Когда Куренков на кого-то злился, он темнел лицом, смуглел, отчего на лоб и щеки ложился вроде бы загар, похожий на степной. Он худел. И можно сказать, что становился маленьким.

– Ну и что теперь? – грозно спросила Шурочка.

Вглядываясь в его загар, она добавила:

– Ты, Куренков, смотри у меня!

Он виновато пожал плечами и что-то промычал. Он ел, жевал. Шурочка взгляделась вновь. (В тех случаях, если ее подозрение было несправедливым – а такое тоже бывало, – именно речь Толика, ласковая и несколько смущенная, успокаивала ее. Шурочка говорила ему:

– Ты, Куренков, смотри у меня!

На что он, именно что смущаясь, отвечал:

– Ты, Куренкова, не бойсь...

(Получалось мило.)

Но теперь он не ответил. А поужинав, он пошел мыться и попросил потереть ему спину, что также было для Шурочки приметой и признаком. Со стороны приметы могли казаться пустячными, но ведь жена мужа знает. В малогабаритной квартирной ванной он напускал столько пару через душевой шланг, что ему было жарко и хорошо, как в парилке, зато там и тут – отовсюду падали капли. (Шурочка не раз его ругала, так как отсыревали стены: «Лодырь! Шел бы в баню!...») Распарившийся, он выглянул в дверь и, выставив голову в дверной проем, попросил Шурочку – потри, мол, спину. У него как бы не было сил: он стоял, голый и худой, весь уменьшившийся, и ныл, жалобно просил потереть спину, как мальчишечка, который болен и который просит помыть его, слабого, хотя бы из жалости. Шурочка возилась с посудой. Увидев высунувшуюся его башку, она поворчала, но, конечно, спину ему потерла, обратив лишний раз внимание, что не только лицо, но и тело у него потемнело. Он вдруг стал смуглым.

Теперь Шурочка почти не сомневалась, что Куренков кого-то невзлюбил. Подумав, вычислила, кого – Тюрина; в их компании Василий Тюрин появился сравнительно недавно, с год, а уже выделялся. И правда, они сразу и как-то особенно его полюбили: он был весел, говорлив, силен физически и к тому же с машиной. Он мог подвезти-отвезти.

Когда мастер ковырялся в телевизоре, обязанностью Шурочки было записывать и перечислять поломки с его слов. Но, перехватив пальцами темное крылышко копировальной бумаги и подложив листок заново, Шурочка вдруг встала. Она пошла звонить, в конце концов, ее заботил муж, а хорошенькой да еще и полненькой женщине сходит многое, Шурочка это знала. Даже и нервные клиенты (был их час – близкий к обеду) молчали. Ей вдруг показалось, что все эти грубые люди притихли с умыслом. А дозвонилась Шурочка быстро. Куренков работал при жэке и обычно в обед околачивался дома.

– Куренков! – заорала Шурочка в трубку. – На родительское собрание в школу – не забыл? И заплати за квартиру. И за телефон! За телефон!..

Если Шурочка особенно тревожилась, она загружала его всяческими поручениями или же просто так, наугад бранила. В дни, когда он темнел лицом, загружать его было полезно.

Вечером Шурочка позвонила Зиминым – она и с Аней Зиминой поговорила, и с Аликом. «Моего Толю опять, кажется, заносит», – сказала Шурочка. Но они только посмеялись. Они не придали ни малейшего значения ее приметам, а Толика они любили. Как не любить

– ведь друзья детства! Зимины да еще Оля Злотова, Маринка, Гена Скобелев – они жили в многоподъездных, многоэтажных домах, а раньше – в старых московских дворах и двориках, которые стояли на этом же самом месте и от которых уже ничего не осталось, если не считать их самих, то есть людей, но ведь и они выросли. Бывшие ребята и девчонки тех дворов и двориков – вот кто они были.

Конечно, в компании старых друзей Шурочке многого не хватало. Не умели они поговорить умно и интересно, не умели одеться со вкусом, – даже Алик Зимин, джазист, выглядел немножко попугаем, если наряжался. Но нельзя требовать от человека всего на свете. Тонкость, вкус и умение рассуждать Шурочка находила в других людях, зато в старых друзьях она ценила именно дружбу, память о детстве и то, что к ним в любую минуту можно прийти. Отзвонившись, Шурочка думала о них, и на душе у нее теплело: глядишь, все обойдется.

– Как же я люблю тебя, Толик! – восклицала она в пустой комнате наедине с собой. («Как же я люблю, когда ты тихий, когда ты спокойный. Как же я люблю, когда ты добрый!» – вот что значили ее слова.) Шурочка бывала сентиментальна, иногда восторженна.

Чтобы быть рядом, Шурочка пошла с Куренковым и за подарком для дочки. Они шли под руку, нацеливаясь в универсам, но только начали переходить улицу, как легковая машина, притормозив на снегу, стала прижимать их к тротуару. Сначала они придержали шаг, а потом попятнулись, а потом с некоторым уже гневом вскинули на водителя глаза и... рассмеялись: Василий! Как всегда, дружелюбный и обаятельный Василий Тюрин тут же пригнул машину к обочине, даже и въехал на заснеженную обочину, после чего, распахнув дверцу, вылез. Сразу же и с улыбкой он протянул Куренкову руку: здравствуй, мол, Толя, и давай, мол, две-три минуты постоим, покурим вместе. Новый год собирались праздновать у Зиминых, об этом и говорили. Они стояли возле машины. Быть любимцем – дело непростое, и, возможно, Василий Тюрин все же чувствовал, что кто-то подспудно копит к нему неприязнь, но не чувствовал – кто.

Затягиваясь сигаретой, Василий Тюрин сказал с некоторой заботой в голосе:

– Погуляем... Драки бы только не было. Никто не перепьется, как ты думаешь?

И после предвкушения общего застолья это было даже удивительно, это вроде получалось, что на Новый год и выпить нельзя.

Куренков ответил ему негромко и просто и только за себя – я, мол, не перепью, на что Василий Тюрин так и заулыбался:

– Да ты-то конечно. За тебя, Толик, я спокоен. – И он еще улыбался и что-то выспрашивал о настрое, а потом вдруг сказал в раздумье: – Может, я и не приду к Зиминым – не знаю...

Куренков ответил опять же негромко и просто:

– Может, и я не приду. Как получится.

А Шурочка держала его под руку; слушая их разговор, она чувствовала на спине и на плечах легкий озноб.

– Нет, Толик, ты уж приходи обязательно. Что же, из людей серьезных я один там буду? – И это Василий Тюрин гладил Куренкова по шерстке, не были они друзьями, не были и какими-то особенно серьезными людьми – друг без друга они могли бы запросто посидеть, тем более в новогоднем застолье. Шурочке, слушавшей их, как-то даже жалко стало Василия, уж очень он распинался.

– Ты, Толик, приходи, – повторял Василий Тюрин. – Выпьем. Поговорим. Люблю я, Анатолий, когда ты про жизнь рассуждаешь!

И это он уж совсем лез в душу: ты, мол, да я, нас двое. И может быть, он каждому перед близким застольем, волнуясь, так говорил – приостанавливал машину, а потом говорил братаясь. Шурочка отметила также: ведь «Анатолий» сказал, не «Толик»... Почему Василий Тюрин не хотел отказаться от совместного застолья, было неясно (если уж он так предчувствовал!). Жил Василий с Маринкой Князевой, они недавно сошлись, и, ясное дело, он мог отметить

Новый год у нее. Они могли отпраздновать вдвоем, даже и не позвонив. Он, собственно, и появился в их компании через Маринку.

– Ну, я в магазин пошла, – сказала им Шурочка.

Отойдя, она оглянулась: они тоже уже прощались, руки пожали, и это, конечно, Василий Тюрин захотел руку пожать, не мог без этого. Василий влез в машину, он обогнал, проехал, помахав Шурочке; это был сильный мужчина; когда он сидел за рулем, грудь его выпирала колесом. Ее Куренков, выглядевший рядом с Василием как заморыш, тоже пошел своим путем. Шурочка и его проследила взглядом – он не сразу направился в жэк, где работал слесарем-сантехником, а сначала свернул к пивной палатке. Зима стояла холодная, но их пивная палатка была замечательная: пиво подавалось с подогревом, и сушки были, сухарики. У входа в магазин Шурочка оглянулась еще раз: Куренков уже стоял у палатки и цедил пиво.

Куренков чувствовал себя примерно так, как чувствуют люди надвигающуюся болезнь. Он даже и маялся. Он бы махнул рукой на этого Тюрина, черт с ним, но в том-то и беда, что чувство озленности нарастало теперь само собой, неуправляемое. Он стоял, цедил пиво, а в груди чувствовал жжение. Внешне, однако, спокойный, сдержанный, он выпил три кружки. Обычно пил две. Пиво не заглушило, и, неудовлетворенный, он потащился в жэк, где выслушал долгую ругань начальника, – Куренков не огрызался, человек он был смирный и терпеливый.

Так что его не только выругали, но и заставили много работать – он затемно все еще ходил по квартирам, по вызовам: его не впервые нагружали чужой работой. В жэке он считался человеком добродушным, так и не научившимся качать права.

Но и работа не заглушила; вернувшись, слесарь-сантехник, похудевший и потемневший лицом, шастал теперь по своей квартире и машинально трогал краны – он то на кухне маялся, то в комнате. Дочка и жена вскоре уснули, и тогда он маялся только на кухне, в шерстяных носках мягко и неторопливо вышагивая. Нет-нет, и он держался рукой возле живота; ощущал там жжение. К ночи оно усилилось, поднимаясь почти к сердцу.

Заснуть и среди ночи не сумевший, он пошел к жене; он чувствовал себя зазябшим от долгого хождения, а жена была теплая, нагретая сном и одеялом. Он приласкал ее раз и другой, но, когда полчасом позже тронул ее за грудь вновь, Шурочка взвилась: «Отстань же, ей-богу, – как мальчишка семнадцатилетний!» «Да ладно тебе!» – Теперь и он сказал ей грубовато и жестко: отдай, мол, мужу мужнино, бывает же. Но и потом он ворочался, спать не мог и вновь ушел на кухню. Он вышагивал, курил, а жжение в груди беспокоило все больше. Он слышал похрапывание жены, Шурочку теперь, как из пушки, бросило в сон, а он все трогал себя рукой под ребрами, как бы определяя область жжения и пытаясь унять. Он курил и поглядывал в окно, где сыпал мелкий снег.

Еще и не в разгаре было застолье, когда Василий Тюрин стал нервничать: шутил он неловко, именно что нервно шутил, а ему вставляли шпильки и подначивали. Вдруг он расхвалил свою машину и свое искусство поиметь деньгу, а Алик Зимин, хозяин застолья, крикнул ему (и тоже, конечно, шутя):

– Эй, трепло, чего это языком молотишь?

– А хочется! – мигом откликнулся Василий Тюрин и стал Алика пересмеивать. А Шурочка с Куренковым были на другом конце стола – рядом с женой Алика Зимина, так что сидели как бы поодаль. Шурочка уже не волновалась. Шурочка даже думала, не позвонить ли, скажем, кинокритику Панову (вот кто со вкусом говорил и со вкусом одевался: замшевый пиджак, вельветовые брюки) и не поздравить ли его с Новым годом, – это могло быть неудобно, но могло быть и очень кстати.

К тому же Шурочка заметила, что Куренков, ей в бокал подливая и подливая, сам как-то вдруг и быстро набрался и за происходящим едва следил – и слава богу, подумала Шурочка,

потому что выпивший Толик бывал хорош и спокоен. Он сидел тихий и от выпитого бледный. Правда, он попробовал негромко запеть песню, но на него зашикали и справа, и слева, потому что петь песни в новогоднем застолье было, вообще говоря, необязательно, да и рано, – и тогда он совсем затих.

Шурочка (она звонить и поздравлять раздумала) сама же тогда ему и сказала: не пой, мол, Толик, заткнись, пожалуйста, а поди-ка позвони дочке. И Куренков послушно затопал в спальную комнату, где у Зиминых телефон; там он уселся, ссутулившись, и Шурочка слышала, как он тычет неверным пальцем в диск. Наконец дозвонился. «Легла?..» – спросил он у дочки. «Еще нет». – «А как уроки, сделала?» – «Какие уроки – каникулы!» – «М-м... прости, дочура. Это я выпил и уже ч-чепуху говорю...» – И тут он положил трубку, и Шурочка была довольна, что он муж как муж: и что такой послушный, и что домой позвонил с первого же ее слова.

Куренков тоже был довольный: хотя он и сильно выпил, а все-таки с дочкой поговорил. Он был доволен, что сумел. И у него уже возникла мысль, а не уйти ли вовсе домой к дочке, пусть пьют без него, но тут опять стало жечь в груди, и, колеблющийся, он вернулся в ту комнату, где был шум и гам и где общее застолье все набирало обороты. По цветному телевизору, никем не слушаемый, передавался праздничный «Огонек»; они как раз же и чокались, а увидев приближающегося Куренкова, закричали:

– Иди сюда, Толик!.. Чокнемся, Толик! – Они бы, веселые, и слону закричали, давай, мол, слон, чокнемся, и Куренков все хотел от них уйти, но они звали его и тянулись стопками и горланили, а охмелевший общий их любимчик Василий Тюрин, невпопад и как бы сам напрашиваясь, выкрикивал:

– А если кто на меня зуб точит – давайте начистоту. Выйдем на улицу и по-мужски поговорим!

Все захохотали, а Василий, смеющийся, стоял и поправлял галстук над чуточку торчащим ранним животиком. Крепкое бычье лицо Василия горело и пылало от выпитого.

– А выйдем!.. А вот сейчас и выйдем! – сказал ему Куренков, и от несравнимости их, бойцов, все взорвались хохотом с новой силой: Куренкова, бледного и уже умудрившегося напиться, умоляли сесть, выпить крепкой заварки, а еще лучше – поесть жирного.

Однако Василий Тюрин и Куренков, двое, уже пошли к дверям, а тут в огоньковской программе появилась на экране Алла Пугачева – в легкой косынке, улыбаясь чарующими редковатыми зубами, она запела. Все смотрели: всех как бы заворожило. Лишь Шурочка забеспокоилась; зная мужа, она хотела встать и кинуться ему вслед, но встать-то она не могла: шампанское как бы придавило к стулу, у Шурочки не было ног. Шурочка подумала про Куренкова, что все-таки споил, змей, перехитрил, – она замахала руками, она даже закричала, какая, мол, сейчас Пугачева, бегите вниз! – но Шурочку никто не слушал, слушали песню. Она еще раз им крикнула. Обезножившая, встать она не могла и только пересаживалась понемногу со стула на стул – и еще со стула на стул, к окну поближе, чтобы видеть; было дымно, курили, окно было приотворено.

Куренков ударил Василия, едва они вышли из подъезда на улицу, а вышли они в пиджаках, было морозно, и под ногами хрустел новогодний снег: на улице ни души. Василий Тюрин поскользнулся, но на ногах устоял.

– Да ты что, Толик? – сказал он, опешив и все еще не принимая Куренкова всерьез: он считал, что Толик Куренков просто перепил, к тому же сам он был намного сильнее Куренкова – но Куренков уже и зашипел, наливаясь злобой: ты, мол, всем надоел, гнида, вали на свой Юго-Запад и там гуляй и сори деньгами.

– Что?.. Да ты ли это говоришь – совсем пьян, Толик? – Василий шагнул, он и руки распростер, желая во хмелю обнять Куренкова и, может быть, поцеловаться на морозе, а Куренков ему, шагнувшему ближе, как бы воткнул кулак в лицо.

После чего и началась драка. Тюрин был сильнее, но Куренков яростнее, он дважды падал, но подымался; лица у обоих были разбиты, оба тяжело дышали. Тюрин и в глубине души все еще считал, что, разумеется, кто-то другой или даже кто-то третий в эти дни подзуживал и нагнетал нервозность и что глупый, милый, перепивший Толик, скорее всего, подставное лицо. Не было в Тюрине злобы. И едва Куренков рухнул, упал в снег, Василий Тюрин, сплюнувший кровью, сказал:

– Знай в другой раз!.. – И повернулся, пошел было к подъезду, не желая добивать, а из подъезда как раз выскочили их мирить Маринка Князева и Гена Скобелев.

Выскочил, конечно, и хозяин застолья – Алик Зимин. Их, запоздавших, подгоняла криками Шурочка. «Дерутся! Да спуститесь же – они дерутся!» – кричала она, высываясь в окно.

Тюрин, хоть и сбивчиво, стал объяснять, что он всего лишь защищался, что Толик сволочь и что нечего мирить их на равных, и вот тут Куренков, вскочивший, как-то мигом к ним подлетел и промеж стоящих ударил его в лицо, притом ударил и сильно, и оскорбительно. Василий Тюрин метнулся к своей машине. Он успел вскочить, захлопнув дверцу перед самым носом вновь рвавшегося к нему Куренкова, яростного и неугомонного. Резко вырвав и разбрызгивая снег, машина помчалась на ту сторону дороги; дубленка и шапка были у Василия, к счастью, в машине, и теперь он поехал туда, напротив, к шестнадцатиэтажной башне, где жила Маринка Князева. Больше ему ехать в этом районе было некуда. Понимая, что он пока-тил к ней (придется праздновать дальше вдвоем), Маринка побежала за машиной вслед, на бегу кутаясь в платок.

Василий Тюрин, симпатичный и веселый мужчина, так вот и исчез из их компании. Все сочли, что он слишком уж оскорбился: меж своих всякое бывает. Маринка Князева поплакала, но Тюрин, как она знала, так или иначе все равно собирался через две-три недели вернуться в семью, что жила где-то в Юго-Западном районе, – Маринка только одна и знала об этом. Она плакала, потому что хотела вернуть его хотя бы и на две-три недели. Но все решилось, когда Василий еще раз приехал за чем-то, у Маринки забытым, они провели ночь, долго говорили, – и он ушел совсем. Кто-то – кажется, Алик Зимин – звонил ему, звал, но Василий не появлялся.

2

Позже стало известно, что, когда Василий Тюрин помчался в машине, а Маринка побежала следом, когда все, обсуждая драку, стали подыматься к Зиминим, чтобы как-никак продолжить веселье, Куренков с ними не поднялся. Он, правда, махнул им рукой – сейчас, мол, приду. «Чуть остыну...» – крикнул он им, прихватывая снег дрожащей рукой и прикладывая к разбитым губам. Однако и остыв – не пришел.

Почти бегом пересек он улицу. По улице катил совершенно пустой новогодний троллейбус и лихо промчались два такси, когда Куренков пересекал широкую проезжую часть, присыпанную снегом. Он бежал, ежась в пиджачке и в белой рубашке с чуть замаранным кровью воротником. Перейдя дорогу, он сам собой напал на прерывистую на снегу нитку следов Маринки Князевой. Он машинально ступал след в след, пока не вышел к ее подъезду.

Когда Маринка открыла, он разом втиснулся в дверь, не давая ей не впустить, после чего кинулся на кухню – к Тюрину, где они тут же замахали вновь кулаками, а потом сцепились, выкручивая друг другу руки. Со стола поехала скатерка, упала посуда, и Маринка Князева закричала на Куренкова, хлеща его по лицу: сейчас, мол, зову милицию!

– Зови! – огрызнулся Куренков, а сам напал, он все еще был в напоре, в то время как Василий дрался уже без азарта, устав прежде всего от шума и криков. На минуту они распелись – стояли, стиснув кулаки и дыша как загнанные. – Деньгами соришь, уб-бирайся! – мрачно вышеживал Куренков. В нем кипела такая ярость, что и Маринка вдруг чего-то испугалась, отошла в сторону, притихла и не рвалась к телефону.

Тюрин наконец сник – он прошагал с кухни в комнату, раскрыл там свой чемодан и, покидав туда белье, щелкнул замком. Собрался. Он надел дубленку, шапку и ни слова не сказал Маринке. Зато у выхода он приостановился и сказал Куренкову, криво улыбаясь:

– Не знаешь ты, как сорят деньгами, Толик. И не хамил я – наговорили тебе... – И ушел, а Маринка Князева всхлипывала.

– Не ной, – сказал Куренков. – Не я, так другой бы его выставил...

Изгнавший любимца Куренков возвращался; он пересек широкую дорогу, пропустив теперь в обратную сторону катящийся пустой троллейбус. Разбитое лицо ныло. Он уже видел веселые окна, где продолжалось гулянье. Из приоткрытого окна Шурочка, высунувшись, грозила ему кулаком.

Некоторое время Куренков ходил виноватый – самое постыдное – это, конечно, перепить и подраться на Новый год. И ведь человек тридцати лет, не мальчишка. Особенно же он виноватился перед Шурочкой; смирный и кающийся, он лишь изредка пытался в свое оправдание что-то сказать.

– Ну, Шура, – говорил он негромко, – ну почему же одному все можно – и деньги, и похвальба? А его еще любят, унижаются...

Такая у него была манера объяснять и оправдываться, но Шурочка быстро его прижала: это кто же перед Тюриным унижался? Чего это ты выдумываешь?... Василия Тюрина любили, верно, но никто не унижался. Тогда Куренков завилал: мол, выпил лишнего и не знаю, мол, как получилось, но от его виляния Шурочка, как всегда, вошла в еще больший гнев. Она даже ударила его своей сильной рукой по шее. Она хлестнула, он, как всегда, стерпел и смолчал.

– Да что ж ты за выродок такой! – говорила Шурочка в гневе, а он сидел напротив нее притихший.

Объяснение было долгим.

– Поверила бы, если б не знала тебя!.. Но ведь не первый, не первый раз! Ведь я-то тебя знаю! – вскрикивала Шурочка, а он помалкивал и все кивал головой: да, виноват.

Когда Шурочка говорила: вправьте же ему мозги! – друзья ее не понимали. Шурочка даже вышла из себя, напомнив им кое-какие случаи, происшедшие с Куренковым, но для них эти случаи не стояли в одном ряду. «С кем чего не бывает?», «Да ты спятила – чего ты Толика тиранить?». Друзья детства не придавали значения его срывам, очень к тому же редким. «Нельзя уж и выпить мужику». Они и впрямь считали, что он попросту выпил лишнего, бывает же.

Более того, жена Алика Зимина назвала Шурочку занудой. Время от времени они все жаловались друг дружке на своих мужей – жены и есть жены, но в жалобе надо знать меру. Шурочка, на взгляд жены Алика Зимина, перегибала.

– Да живи ты спокойнее! – говорила она.

Но Шурочка не могла жить спокойной, зная из рассказов Толика, как возникает в нем жгучая неприязнь к человеку и как он ничего не может с собой поделаться. В прошлом, что ли, году или в позапрошлом он озлобился на какого-то удачника до такой степени, что сам своей злобы испугался: ночью, в постели, он вдруг сел и говорит Шурочке:

– Завтра не пускай меня туда, Шура... Не пускай!

И она не пустила.

Шурочка позвонила свекрови.

– Мама, – так Шурочка называла свекровь. – Толик опять подрался.

– О, господи!

– Мама, раз ему сошло с рук, два сошло – но ведь в конце концов он попадет в тюрьму!

Свекровь жила за городом. Она пообещала приехать и поговорить, но не приехала. Даже и она, мать, судя по ее вздохам, думала, что случилась обычная драка по пьянке, советовала не давать пить, особенно же не давать опохмеляться, а про себя полагала, что годам к сорока у сына это пройдет. Никто не понимал Шурочку. В телевизионном ателье Шурочка сидела на приемке, место ее считалось бойким и модным, но ведь с клиентом не поговоришь. Наконец народ схлынул. Мастера, удалившись в бытовку, в глубине ателье застучали в домино. Шурочка расслабилась. Слева от длинного приемочного стола стояли три телевизора напоказ (в центре цветной – мол, какова работа!), по всем по трем гнали вчерашний хоккей, и свист был – хоть зажимай уши.

Но, если выключить было нельзя, убрать звук на время было можно.

Старый мастер, когда Шурочка рассказала о муже, покачал головой:

– Н-да. Он у тебя самолюбивый.

– Да нет же! Нет! – И Шурочка в который уже раз объяснила, что Куренков вовсе не самолюбивый и не обидчивый даже.

И разумеется, как только представилась возможность, Шурочка примчалась к любимому человеку – к кинокритику Панову; это был интеллигентный мужчина лет сорока пяти, когда-то давным-давно принесший к ним в ателье телевизор и сразу же познакомившийся. Кинокритик женился поздно и, как он сам говорил, еще не до конца растворился в своей семье. Он частенько отправлял жену с маленькими детьми отдохнуть к морю или к теще в деревню, и сам тоже, как он говорил, отдыхал душой, если Шурочка к нему приходила. И, конечно же, Шурочка ему больше и чаще, чем другим, рассказывала про своего Куренкова.

Так, мол, и так, опять подрался, сообщила Шурочка, едва поздоровалась, и заплакала, на что кинокритик Панов промолчал. Затем он погладил красивые усы с сединой и сказал:

– Да он же дегенерат у тебя. Сдай его в психушку.

– Но-но, – сказала Шурочка, вспыхнув, – уж прямо сразу и в психушку!

Кинокритик поспешно вздохнул:

– Извини.

Разговор у них не всегда получался сразу. Помолчали, после чего Панов покурил и ласково прикоснулся к Шурочке, он вообще был человек ласковый и добрый. Но Шурочке сей-

час не ласки хотелось, хотелось поговорить, и Шурочка решительно сказала ему про кофе – хочу мол, кофе, и, когда он пошел на кухню варить, она по любимой своей привычке забралась в постель. Разговаривая, оба они с некоторых пор пили кофе в постели. Он принес две чашечки на красивом подносе, на котором был нарисован город Рига, и, прихлебывая обжигающий сладкий напиток, Шура напомнила:

– Он у меня не какой-нибудь чудик, с идиотом я и жить бы не стала. (Она напомнила, что у ее Толика особый характер.)

Кинокритик Панов иронически хмыкнул, однако ничего серьезного сказать или подсказать в этот раз не сумел – буркнул лишь общие слова, с возрастом, мол, все проходит. Это Шурочка и сама знала. И потребовала, чтобы он вник, а не отмахивался. Тогда Панов сказал ей другое – может быть, ей не тащить крест до самой горы. Может быть, Шурочке, если уж она так боится, развестись да и выйти замуж за кого другого, за сверстника. Пока она молодая, добавил он ласково, и на это Шурочка вновь рассердилась и напомнила ему, непонятливому, что боится она не за себя, а за Куренкова, она Куренкова любит и едва ли на кого-то променяет.

– Ведь сам по себе он человек смирный. И дочку любит. И между прочим, как ты, – музыку любит.

– Музыку?

– Да... – И Шурочка в десятый, кажется, раз повторила, что ее Куренков месяц-другой, бывает, пьет, но сантехник он хороший, не пьяница и не калымщик, вымогающий у хозяев рубли.

Кинокритик Панов проводил Шурочку, как всегда, до троллейбуса, он постоял и посмотрел ей вслед. Она из троллейбуса махала ладошкой, хотя ее толкали. Панов подумал о ней и о Толике Куренкове, которого никогда в жизни не видел: он подумал, как хороши драмы в кино и как нехороши в жизни, когда они в двух шагах от нас.

Дома Куренков только-только покормил дочку ужином, после чего он и дочка вместе мыли посуду. Сам Куренков был такой покладистый, смирный, что сердце у Шурочки подталяло. Смуглота с его лица сошла, и худым он не казался: он казался обычным. Шурочка кинулась было сказать ему что-то ласковое, но передумала: новогодняя драка была еще слишком свежа в памяти, надо было выдерживать строгость, и Шурочка сказала:

– Ты, Куренков, смотри мне!

Он кивнул. Он мыл посуду и кивнул ей: ты, мол, Куренкова, за меня не бойся теперь. И улыбнулся, тихий.

Однако прошло месяца три, ну четыре, и вот ясным весенним днем Шурочка позвонила с работы кинокритику Панову и сказала, что, кажется, началось опять: ее Куренков копит злобу.

– Ты не скучаешь в жизни, – ответил Панов, уже привычно вздохнув. Он как бы тоже нес часть ее креста. Говоря с ней по телефону, он не забывал, что иногда Шурочка сидит у него в постели и в обнаженных руках держит чашечку кофе.

Панов предположил: слушай, а ведь возможно, что твой Толик ревнует вашу компанию к новеньким. Возможно, что он (даже и неосознанно) оберегает друзей детства и саму память о детстве – такое бывает, есть даже особая разновидность психического смещения (он не сказал – заболевания). Но Шурочка возразила. Шурочка сказала: нет. Это верно, что они дружны, можно сказать, с детства, однако же компания – год от года – расширялась, и не ко всем же Куренков ревновал.

Шурочка вспомнила, как в детстве они ездили за грибами. Шурочка поссорилась тогда с Анькой, будущей женой Алика Зимина, – а Алик и Генка Скобелев их, девочек, мирили. Вдруг все заохали: Толик в кустах распорол ногу ржавой консервной банкой. Толик пытался отсосать кровь, но никак не мог попасть пяткой себе в рот. Все корчились от смеха. Пятку

тщательно промыли, после чего Алик Зимин и Шурочка отсасывали ему кровь попеременно. Другие не захотели.

Ранка была похожа на темные выпятившиеся губы. Толик без передышки кричал, что ему щекотно. Он сидел возле пня, голову свесил набок – голова лежала на правом плече, а длинные белые волосы ниспадали. Он тогда редко стригся.

3

– ...Разве этот Сыропевцев лучше всех? – спрашивал Куренков и сдувал пену с кружки. Он хотел выговориться.

Они пили пиво у палатки, где определилось с годами любимое их место, лучшее, как они считали, в районе и вообще лучшее в огромном городе место. Это было естественное возвышение, покрытое отчасти декоративной зеленью и кустами, да и сама палатка была чиста и опрятна. В придачу был вид: внизу растекалась широкая, с размахом, площадь, где троллейбусы делали круг и где люди, с их авоськами и портфелями, четко видные, шли туда и обратно. Люди, если на миг их остановить, были как на картине.

– Разве этот Сыропевцев лучше всех?.. Он и то. Он и се. Всюду лезет, хоть его не просят.

Алик Зимин усмехнулся:

– Ну любит мужик показаться, ну и что?

Улыбнулся и Гена Скобелев, прикончив кружку:

– Чего это ты взъелся на него – неужели завидуешь?

Алик добавил:

– Как только возле нас появляется мужик с «Жигулями» – он тебе как кость в горле!

Куренков от такого ответа даже растерялся: он мог поклясться, что «Жигули» тут ни при чем. Бывало, что Куренков не любил человека, но он никогда никому не завидовал, чего-чего, а этого дерьма в нем не водилось.

– Не завидую я – просто смотреть противно, как вы ему зад лижете.

Они не обиделись, они посмеялись, а Алик Зимин похлопал Куренкова по плечу. Тут подошла сзади Шурочка, которая приближалась к ним медленно, чтобы их разговор услышать, пусть обрывки. И кажется, она услышала. Шурочка сказала ему: иди-ка домой, хотя и знала, что он любит вот так постоять с друзьями. Она повысила голос: иди домой!.. И Куренков, конечно, пошел, но сначала Шурочка заставила его пойти с ней в магазин, пусть потащит сумки.

Дома он молчал, и тогда Шурочка прямо спросила:

– Уже взъелся – на Сыропевцева?

Он не ответил; погремев посудой, Шурочка уткнулась в телевизор. Перед сном Шурочка любила посмотреть фильм, поза у нее была излюбленная: она наваливалась большой своей грудью на стол и подпирала голову рукой. Женщина она была крупная, и, как только принимала любимую позу, на их маленькой кухне делалось тесно. Фильм был о войне.

– Дай же пройти... – сказал Куренков сердито, вставая и протискиваясь сзади Шурочки за чашкой чая.

– ...И ведь не с кем-нибудь, а с Ольгой Златовой гуляет...

Это у него вдруг вырвалось (про Сыропевцева), и Шурочка тут же забила крыльями:

– Да что ж ты на него взъелся, зараза! Красивый же мужик, хочет – и гуляет! Она ж разведенная!

Куренков замолчал, прикусил язык. Досмотрев фильм, жена легла спать. И дочка легла. А он все думал о том же, растил злобу, пока не спохватился: вот ведь несчастье!.. Он лег, но не спал, ворочался и все трогал свою несильную грудную клетку: жжение начиналось в области живота, но Куренков знал, что теперь оно будет подыматься, день ото дня забирая все ближе к сердцу. Он вдруг заныл как от зубной боли.

Утром, когда они выходили из дома, возле почтовых ящиков их как бы приостановил сосед Туковский, человек пожилой и умный. Звали его Виктор Викторович. Когда-то по молодости Туковский дважды отбывал в заключении срок. Известно было, что он насмотрелся там разного и что глаз у него наметанный. Нет, сначала он просто вынул из своего почтового ящика

газету. По-соседски поздоровавшись и немного с Шурочкой поговорив, он буквально ни с того ни с сего обратился к Куренкову: хороший, мол, ты парень, Толик, однако по твоему поведению (прости меня, старика) и даже по лицу твоему я читаю – сидеть тебе в тюрьме.

– Почему это? – спросил Куренков, и Туковский смутился, а потом (отвечать было что-то нужно) невесело и как-то неохотно добавил, что судьбу, мол, не объедешь, хоть и будь вдвойне осторожен.

– Ни мать, ни отец у меня не сидели – и я не сяду, – отчасти даже с обидой и вызовом бросил ему Куренков, а тот только покачал головой.

И уже для Шурочки заметил:

– Следи за ним, Шура...

– Не ваше дело! Пожилой человек, а такие вещи говорите!.. – огрызнулась тогда и Шурочка, хотя разговор шел вполне спокойный и добрососедский.

Виктор Викторович Туковский настаивать, конечно, не стал. Он тут же кивнул – разумеется, мол, дело не мое, и, пожалуйста, извините. Туковский с газетами даже и заспешил, ушел. Он поднялся на свой пятый этаж и, может быть, уже забыл, что сказал, ведь утренние разговоры зачастую бывают лишь от настроения. Но именно после того, как бывалый сосед так нехорошо накаркал, Шурочка сделалась беспокойна, она позвонила своему любимому человеку Панову и сказала, что волнуется и что Куренков, кажется, опять копит зло; тогда-то кино-критик, вздохнув, ответил:

– Да, Шурочка. Ты не скучаешь в жизни...

Сговорившись, она пришла к кинокритику домой. Они немного выпили, а помиловались и того меньше, после чего Шурочка сразу же заговорила о своем наболевшем: боюсь, мол, Толик мой сядет в тюрьму. Как быть и что тут можно поделать, если бывшие зэки его уже сейчас за своего принимают. Боюсь, что сядет, повторяла она. Голос ее дрожал, а Панов неделикатно спросил:

– Как – он не сидел еще?

– Никогда!

– Разве? – переспросил кинокритик, и тут они с Шурочкой поссорились. Она даже обиделась. Не раз и не пять она рассказывала ему от самого детства чуть ли не всю свою жизнь, он же ее слова и рассказы забывал, или не помнил, или просто путал: он как бы любил не разговоры с Шурочкой, а ее саму. Шурочка же разговорам с умным, тонким человеком придавала большое значение и, можно сказать, за них-то Панова и полюбила. Правда, и одевался он замечательно, со вкусом. Против этого она тоже не могла устоять.

Шурочка вновь напомнила: ее Куренков человек смирный, спокойный, но иногда (раз в год, раз в два года) он как бы ревнует и вдруг начинает копить зло на человека, который излишне выделяется. Если кто-то над другим возвышается – он его не любит. Если Василий Тюрин выделялся, скажем, модной болтовней, беспечностью, а также некоторым излишком денег, которые бросал направо и налево, то еще более ясно выделялся появившийся в их компании инженер Сыропцев: он был красив. К тому же Сыропцев тоже был с машиной.

– Того он не любит, этого не любит, – скажи, а не много ли он себе позволяет?

– Ты у него это спроси.

Закурив, кинокритик сказал:

– Думаю, что он завистник.

– Э, нет.

– Он просто умеет это скрывать...

– Вот и нет! – рассердилась Шурочка (Панов к этой минуте разместился на тахте, покуривая и свесив ноги, а Шурочка полулежала).

В гневе Шурочка вскочила с постели и, взмахивая рукой, рассказывала про равнодушие Куренкова к деньгам, к тряпкам, про его безразличие к машинам.

Объяснила она и про жжение в груди: средоточие скапливающейся на кого-нибудь злобы. И про то, как он худеет и заболевает.

– А ведь он у тебя антилидер! – воскликнул на этот раз Панов.

– Что это такое?.. Психопат?

– Что-то вроде. – Панов кивнул.

И тут же Панов спросил: а в детстве, мол, и в школе не поколачивал ли Куренков отличников, а также красивых мальчиков, нравящихся школьницам. Не был ли он в детстве обдуманно драчлив? Есть, мол, такой печально известный (даже и страшноватый) человеческий тип, проявляющийся с раннего детства. Шурочка, не споря, сказала бы: да, да! – однако и тут Панов не угадал. Куренков и Шурочка росли вместе, в одном дворе, Толик был мальчик спокойный, не драчливый, и уж точно, что к смазливим отличникам не приставал. Она бы заметила. Она и девочкой была наблюдательна.

– А все-таки это связано с детством, – стоял на своем Панов.

Шурочка взволновалась, ее била дрожь; на улице она натыкалась на старушек. Вернувшись домой, сказала:

– А знаешь, Куренков, что говорят про тебя умные люди – антилидер ты.

Он сразу и сник.

– Кто говорит?

– Ну уж кто говорит, тот знает.

Шурочка специально припугнула его незнакомым словом, чтобы он следил за собой.

А до встречи с Пановым Шурочка ездила за свиными ножками для холодца по случаю дня рождения у Маринки Князевой. Ножки она купила неожиданно быстро. И морковь купила – времени оказалось много, и вот тогда-то Шурочка отправилась к Панову, чьи мягкие разговоры успокаивали ее лучше всякой валерьянки. Она примчалась к нему как на крыльях, она уже на пороге была в слезах:

– Душа болит...

Она предчувствовала плохое, она жаловалась ему – а Панов, намекая, договорился до того, что ее Толик чуть ли не с детства был подпорчен и плох.

– Ты прямо счастлив записать его в психи.

– Счастлив я или несчастлив – не в этом сейчас дело. Когда этот день рождения? (Шурочка боялась, что именно на дне рождения Куренков сорвется.)

– Послезавтра...

Панов попивал понемногу коньяк; выпив очередную рюмку, он усмехнулся:

– Глупенькая ты, Шурочка. Чем скорее его упекут, если он и правда такой, тем лучше. Для тебя же лучше. Сколько можно жить на вулкане?!

Но тут и Шурочка взвилась.

– Упекут? – сказала. – Ишь какой быстрый!.. Люблю я его, он мой муж – ты не забыл это? Семья – это семья, нам еще дочку на ноги ставить!

Он помягчел, стал успокаивать:

– В каком классе у тебя дочка? – Он был забывчивый, одно и то же она ему рассказывала по многу раз.

– В каком, в каком? В шестом!

Панов помягчел, вздохнул, сочувствуя Шурочке, а потом включил магнитофон; он хотел послушать и музыкой немного отвлечься, а на записи неожиданно оказалась та самая песня, какую любили петь ее Толик вместе с Аликом Зиминим, Шурочку тут же прошибла слеза. Шурочка села на постели, уткнула лицо в ладони. Панов решил, что растрогала песня, стал говорить, какая Шурочка чуткая к музыке, какая она нежная и женственная. От его ласки Шурочка растрогалась еще больше, слезы так и лились, а пора было идти, она уже засиделась. Одевалась она наспех, она одевалась, а он, неловкий, ее целовал. Он тоже, в общем, расчув-

становался. Когда Шурочка вышла, выяснилось, что она забыла у него в холодильнике свиные ножки. Она вернулась уже с улицы. Она запыхалась.

И вот тут, увидев ее вновь, Панов, как бы осененный, сказал ей – поговори, мол, Шурочка, со своим Толиком в открытую. Панов рассуждал так: Куренкову, быть может, не хватает именно участия. Пусть-ка он откроется Шурочке, пусть доверится.

– Что? – переспросила Шурочка. Она поняла не сразу; она запихивала сверток в сумку и тяжело дышала.

Но разговор в открытую пришлось отложить, пришел Алик Зимин с женой, от Ани Зиминной пахло дорогими духами. Вчетвером они выпили водки, посидели, посумерничали – две семьи, это всегда чудесно. Сначала Алик играл им на саксофоне, потом на гитаре, – Куренков любил вот так послушать, Шурочка и сама обожала такие минуты, она сидела в обнимку с женой Алика, и мужья, захмелевшие, сидели рядом. Надвигающаяся беда забылась. Шурочке стало хорошо: казалось, что завтра будет утро, и небо совсем очистится, и брызнет голубизна, что хоть глаза закрывай.

Когда проводили припозднившихся гостей, Шурочка, вся еще в настроении, легла и приластилась к нему. Толик, Толик, говорила она, а он отвернулся к стене. Такого никогда не бывало, и Шурочка вспылила. Такой-сякой, кричала она (шепотом), наелся где-то на стороне, а теперь на жену не глядишь?.. В сердцах Шурочка столкнула его с кровати. Он ушел на кухню. Он ушел и курил там до желтизны. Но Шурочка и туда пошла за ним: сознайся, мол. Она еще раз толкнула его в спину. Он молчал, курил, и тогда Шурочка стала бить посуду: она хлопала об пол одну за другой чайные чашки, пока дочка, допоздна в своей комнате зубрившая басню, не вбежала с криком: «Мама! мама!..» – «Ложись спать!» Та ушла, что-то вскрикивая. И только тут Шурочка наконец успокоилась, утихла. Скрыв вздох, она замела в угол побитое. К счастью, дочка скоро уснула. Они тоже легли. Они лежали, отвернувшись друг от друга.

Они долго молчали, потом, вдруг повернувшись, Шурочка прошептала ему прямо в ухо: «Смотри, если Сыропепцева хоть пальцем тронешь! Не хочу быть замужем за зэком!..» И Куренкова передернуло от того, что Шурочка прочла его мысли, как свои. Он весь сжался в комок. Молчал. Потом его забило мелкой дрожью. Он повернулся к Шурочке, стал говорливый и ласковый, но Шурочка уж и не хотела, какая там ласка, когда пора спать. И тут она вспомнила совет Панова. Она стала мягкой, нежной, зашептала:

– Толик... Скажи, скажи, что задумал... Доверься.

Она целовала его в шею, нежно гладила, и он открылся, что да, опять жжет грудь и что он боится срыва, особенно же когда они пойдут на день рождения. «Ах, Толик...» – шептала Шурочка, пораженная тем, как правильно работало предчувствие и как дорог совет любимого человека. Панов был умница. Но до чего ж Толик оказался скрытен (ведь она как просила обойтись без стычки, умоляла)...

– ...Я уж собрался завтра париться, и чтоб ты спинку мне потерла.

– Толик!

– Не трону его, не трону! Обещаю! Я ведь рассказываю тебе, чтоб знала...

Они оба обрадовались, она – его доверию, он – ее готовности его понять. Они называли друг друга ласковыми словами. Они долго и сбивчиво говорили, даже вдруг проголодались – полуголые выскочили из постели, пошли в поздний тот час на кухню, но и там, поставив чайник, надрезав колбасы, говорили вперебой: «Не пойду я на день рождения...» – «Скажись больным». – «Ну да, – так и сделаем!» – «Как же я люблю тебя, Толик, когда ты добрый! Как же я люблю!» – всхлипывала Шурочка, сбросившая с плеч беду, счастливая, и он, счастливый, ей отвечал: «А я?.. Я тоже люблю».

Марине Князевой удалось отправить дочь к бабке, и без дочки можно будет погулять вволю, хоть допоздна, о чем Марина и сообщила звонком. Шурочка, купившая свиные ножки,

взялась сварить холодец. Она, мол, холодец, но Маринка пусть испечет свой замечательный пирог с капустой, она умеет. Если Маринка расстарается, пирог будет замечательный, а помогать ей сделать стол придет жена Алика Зимина, ну а выпивку, конечно, организуют мужики. В их магазине водки может не оказаться, пусть тогда Сыропцев с Ольгой Злотовой съездят в центр, запасутся, деньги сочтем после. Сыропцев на машине, и, стало быть, логично, что за водкой поедут они. Тем самым они с Ольгой тоже примут участие. Шурочка хлопотала, советовала, а сердце у нее сжималось: сердце ныло.

Толик сказался больным уже с утра, как ни уговаривали его друзья и как ни обижалась Маринка. Толик держался хорошо, однако день был длинный – день еще не кончился. Шурочка Куренкова варила холодец, отвлекая себя суетой, и пила валерьянку, прибрав уже к обеду весь пузырек. К вечеру она была предельно взвинчена – приходил упрашивать Алик Зимин, но и тут Толик, молодец, удержался! Отчасти помогло то, что Толик и впрямь заболел. Лицом потемневший еще больше, он вдруг плохо себя почувствовал. Его знобило. И температура, как бы тоже с ним сговорившись, скакнула к тридцати восьми.

Он обрадовался, когда узнал про температуру. Он сказал, как у них водилось:

– Ты, Куренкова, теперь не бойсь... – И стал раздеваться. Он лег в постель в ранний час.

Он велел дочке поужинать, а сам ужинать не стал. Он лежал в постели, посмотрел по телевизору футбол, и то не до конца, слишком знобило. День рождения у Маринки тем временем шел полным ходом. Там были и Оля Злотова, и Сыропцев, и Алик Зимин с саксофоном и с гитарой, и Гена Скобелев, который всегда являлся со своей косенькой женой. Шурочка отнесла им холодец, посидела там час, махнула несколько рюмочек – и домой. Нет, сначала все вместе они позвонили оттуда: пьем, мол, твое здоровье, Толик, поправляйся без промедления. Они услышали его голос, а потом в трубке была тишина. И мигом Шурочка помчалась домой – благо все они жили близко, старая и нераспавшаяся московская компания. Когда Шурочка прибежала, Куренков в постели бредил, бормотал какую-то чепуху. Он говорил о своих прошлых загулах на стороне, о каких-то женщинах. Он весь горел.

В ночь случился кризис, температура упала, и утром Куренков лежал в постели весь слабый, но уже улыбающийся. Шурочка в телеателье не пошла, она сидела рядом, подавая Толику чай и рассказывая, как вчера у Маринки Князевой пили за его здоровье. Его интересовало, как там было и кто был. Шурочка рассказала обстоятельно, со вкусом.

– Да, – вздыхал он, – не повезло мне.

А Шурочка думала: тебе-то, может, и не повезло. Но ей, Шурочке, уж точно повезло. И Сыропцеву повезло, и Оле Злотовой – всем им, можно сказать, повезло.

И все же он сорвался, и Шурочка впервые тогда подумала, что, может быть, и правда, судьбу не объедешь (для Шурочки случившееся было слишком внезапным). Скопившийся в Куренкове и как бы неисшедший заряд зла дал себя знать: не прошло и недели, как он, слабый еще, ввязался в автобусную драку, которая затем, скатываясь по ступенькам, превратилась в драку уличную. Куренков никого там не знал, а зачем он ввязался – непонятно. Когда его сбили, он упал на асфальт и, пинаемый, пустил в ход какой-то жесткий предмет, оказавшийся под рукой. Такая вот случайность.

После выяснилось, что на асфальте лежала ножка изящного журнального столика, кем-то в суতোлке выроненная или утерянная. В зале суда изящная ножка, будучи поднятой, гляделась как палица. Суд был скор и справедлив. В числе других подравшихся Куренкову дали два года тюрьмы, но с отбыванием по смягченной системе: один плюс один.

На суде он выглядел потеряннным: он никогда не дрался в автобусах и не понимал, как это с ним случилось. Народу было немного, пришли только друзья. Шурочка ревела чуть ли не в голос: она досидела до конца. Опухшая и некрасивая, когда им разрешили свидание, она без конца спрашивала:

– Толик! Толик!.. Ну как же так?!

Он неуверенно разводил руками; остриженный, он таращил глаза: не знаю, мол, как вышло; он тоже коротко всхлипнул, когда заговорили о дочке.

Панов утешил Шурочку, был к ней очень внимателен, и, в частности, он объяснил, что случившееся – к лучшему, как это ни горько. Все равно однажды кончилось бы тюрьмой, так что Шурочка может считать, что мелкая уличная драка могла быть кровавей, а исход – хуже, и пусть-ка в тюрьме Куренков, пока не поздно, определит себя и поймет. Он неглуп: ему есть о чем подумать. Надо радоваться еще случаю. Могло быть, что в конце концов он изувечил бы какого-нибудь интересного, яркого человека, он же именно таких людей не любил и на таких именно копил злобу, – это ли лучше?.. «Получается – туда ему и дорога?» – спросила Шурочка. «Я так не сказал». – «Получается – туда и дорога», – повторила Шурочка с горечью и с болью, не умея никак смириться с мыслью, что лучшее место для ее Толика – тюрьма.

Она написала ему письмо в Восточную Сибирь, полное разных ласковых слов – и принятых меж ними, и новых, которые она сочиняла, глотая слезы. Завершалось письмо главным, а главное сейчас было – вернуться живым и здоровым. Это значило, что уж теперь, *там*, он должен, наконец, вести себя сдержанно. «Ты, Куренков, смотри...»

Он ответил, что, конечно, привыкнуть ему здесь непросто, а все же и здесь люди, и он привыкает. А вот плохо спит и беспокоится она напрасно, *в том* смысле все хорошо, и тоже закончил письмо обычным у них выражением: «Ты, Куренкова, не бойсь...»

Свидание им не разрешили, так что Шурочка писала ему письма и отправляла посылки. И конечно, она передавала ему приветы от друзей. Туковский Виктор Викторович, сосед, посмотрев обратный адрес Толика, сказал Шурочке, что да, пусть она не волнуется, таков режим – свидание им разрешат на следующий год.

Когда Толик и она, дружившие с детства, поженились, это было так просто, так естественно, что Шурочке подумалось, что ничего не произошло. Они даже и свадьбы не устраивали. После загса выпили у Зиминых, потом у Гены Скобелева. А потом пошли в кино. Они посмотрели потрясающую французскую кинокомедию, Шурочка много смеялась и была счастлива. Она и тогда обожала кино.

Когда фильм кончился, Шурочка на обычном их повороте улицы сказала Куренкову:

– Ну, пока.

– По-моему, ты кое-что забыла. – Он засмеялся.

– Ой! – Она спохватилась.

И тут они оба громко засмеялись.

4

Свой второй год Куренков отбывал уже как бы на воле – в трехстах километрах от ИТК, в маленьком сибирском городке. Он и там был работающий и старательный. Он и там был смиренный. Он работал по своей же специальности слесарем-сантехником и без всякой охраны. У него лишь не имелось права выезда из этого городка, где каждую неделю надо было отмечаться в отделении милиции.

Можно было и повидаться. Уже было ясно, что свидание дадут. Уже и Алик Зимин спрашивал с нетерпением в голосе:

– Чего это ты, Шура, к нему не едешь?

Посылка, которую они, друзья, собрали, была замечательной.

И Гена Скобелев, и Маринка Князева – все они говорили: поезжай, передай привет, навести его, но Шурочка все не ехала. Она ждала. Дело в том, что Туковский, который больше понимал в Толике, советовал использовать право на свидание не сейчас, а попозже – когда возникнет необходимость.

– Когда же она возникнет? – спрашивала Шурочка.

– Сама почувствуешь, – отвечал ей бывалый сосед. (Это же советовал и Панов, повторявший, что свидание не для того, чтобы повидать, а для того, чтобы помочь. Они с Туковским как бы сговорились, хотя даже и не знали друг друга.)

И точно: однажды письмо Куренкова пришло вдруг сухое и короткое, и сердце у Шурочки стало знакомо ныть.

Испросив себе тут же отпуск и оставив дочку под присмотром Оли Златовой, Шурочка пустилась в долгую дорогу. Сердце не обмануло: Толик заметно похудел и лицом был темен. При встрече у Шурочки стучало в висках, она плакала.

Жил Толик в бараке, с соседом по комнате, и на те три дня, что Шурочка приехала, начальство переселило Тетерина к кому-то другому, чтобы Куренковы чувствовали себя лучше и проще, но Шурочка не чувствовала себя лучше. Верно, что и здесь были люди как люди, но именно ее Толик почему-то оказался в отвратительном окружении, где главенствовал и куражился некто Большаков. (За грабежи отсидев, Большаков тоже ожидал теперь выхода на волю.) Это был здоровенный мужик, с крупными волосатыми руками и мохнатой грудью, встретившийся Шурочке в коридоре барака и без особых раздумий сказавший ей игривое словцо. Шурочка тогда же назвала его хамом. Она назвала его хамом и даже замахнулась.

Грабитель средней руки, Большаков перед выходом на волю хотел казаться бандитом и для того помыкал окружающими его людьми, пугал их и с особым удовольствием чинил всякие мелкие расправы. Он умел внушать страх. Чуть ли не с упоением бил он не уплативших или, скажем, задержавших денежный долг, бил он и попрошаек, и просто забредших в барак, кланчащих двадцать копеек на пиво, – именно что куражился в последние свои дни перед волей. На воле Большаков (он охотно говорил об этом) собирался быть гражданином вполне честным и исправившимся. Более того, он собирался навсегда забыть прошлое. У него была хорошая жена, взрослеющие и умные дети. Так что шли последние деньки. В ресторанчике «Восток», единственном в городишке, Большаков и вовсе держался хозяином. Лариса, старшая официантка, была его сожительницей.

Ресторанчик оказался дыра дырой, и оркестр плохонький, так что Шурочка, когда они все туда пришли, сказала, поморщившись, что не танцует вообще: не умеет. Но все прочие были веселы, взвинчены. В скором времени их ожидала воля и возвращение к родным, – в паршивеньком ресторанчике, к вечеру, это особенно чувствовалось. Ели они хорошо, много,

даже и ее Куренков ел, как никогда не ел дома. А вольготно развалившийся Большаков наслаждался жизнью; глядя поверх бутылок и закусок, он повелел своему подлипале Рафику:

– Станцуй с Надей, Рафик. Официантка тоже человек, и ей тоже хочется.

Затем он и Куренкову сказал:

– А ты, Толя, мою обслужи – потанцуй, она это любит. Я сегодня что-то отяжелел.

Рафик ушел танцевать. И Куренков станцевал с Ларисой, с сожительницей Большакова, хотя Шурочка чувствовала, что Толику такое не нравится. Не могло ему нравиться, и ей ли не знать. Рядом с Шурочкой сидел за столом Тетерин – крутолобый, лысеющий и сильный мужчина, а ведь тоже поддакивал Большакову, как юнец или прихлебатель. Шурочка их всех разглядела. Куренков, станцевав, вернулся, однако оркестр играл и играл не переставая, и, вероятно, чтобы Большаков не послал его вновь, Куренков, опережая, сказал:

– Больше танцевать не буду... Чего это ты, Вячеслав Петрович, пахана из себя строишь?

Большаков глянул на него лениво и недовольно – тебе, мол, что? Большаков хмыкнул, а Куренков (он вдруг потемнел) уже раскрыл рот, чтобы сказать что-то ядовитое, но Шурочка была начеку, Шурочка так двинула его ногой и так зыркнула глазами, что ее Толик мигом смолк. Вот и хорошо. Вот и ладно... Смолкнувший, он выпил стопку, сидел смирно, и все же Шурочка уследила, как чуть позже он держался за живот, унимая там свое жжение.

Когда после ресторана вернулись в барак (и едва пришли в комнату и остались одни), Шурочка сказала Куренкову напрямик: терпи! Вернешься домой, дело другое, пусть жжет, если уж ты без этого не можешь. А здесь терпи, потому что Большаков – это тебе не Сыропевцев и не прочие... Шурочка уже не спрашивала, как и что... Она уже вполне знала мужа. Шурочка и Куренков лежали на жесткой казенной постели, было тихо, и она увещевала мужа, не жалея ни слов, ни времени:

– Смотри мне. Я, Толик, твою коварную натуру знаю! – И, приподнявшись на подушке, она грозила крепким своим кулаком.

Когда на следующий день Большаков, куражась и пьянствуя, кликнул Куренкова к себе в комнату, чтобы выпить вместе винца, Шурочка и тут была осторожна – зовут, надо идти, и нечего морду кислить. Тем более что близко: пять шагов по коридору. Шурочка даже настаивала. Не зли, мол, его, Толик: посидишь, выпьешь стопку и уйдешь потихоньку. Шурочка подкрасилась, пошла с ним: одного его она не оставляла, не за тем приехала. Они пришли. Большаков уже пил, и, конечно, бахвалился, и заставлял Рафика плясать лезгинку, которую тот никогда в жизни не плясал. В их поселение вино и водка практически не привозились. Но здесь было и то и другое. Шурочка не спускала с Куренкова глаз. Она как бы учила его: если хочешь вернуться живым, стерпишь, не маленький, не надо было сюда попадать. И верно: попили у Большакова и даже попели, провели время.

Уже хотели расходиться, когда Рафик, возбужденный и от очередной лезгинки весь мокрый, пожаловался. Он ныл, что жизнь здесь ограниченная и милицией скованная, а к тому же местный парикмахер отбивает у него, у Рафика, любимую женщину. Кажется, он говорил о Наде, официантке. Жалоба была принята. Большаков, вальяжный и сытый, решил навести порядок; он поднялся с места. И все они поднялись и тоже как бы пошли приструнивать здешнего фигаро. Парикмахер жил недалеко.

Шурочка не пошла бы и Куренкова бы не пустила, посидели два часа за винцом – и довольно, но Большаков как-то очень мирно, даже интеллигентно, всем им сказал:

– Ну что, друзья, продышимся пять минут на воздухе – и заодно с фигаро поговорим.

Они пришли в какой-то чистенький и богатый домик. И действительно, дорогой шли они не спеша; и так сладко дышалось сосновым терпковатым духом. А едва вошли, Большаков стал бить парикмахера в собственном его доме, притом сразу же, не помедлив и минуты, – он лишь поздоровался. Онемев, Шурочка так и вцепилась в плечо Куренкова. Все молча смотрели на

расправу. Они вошли и стояли у самых дверей. Большаков их для этого и привел – любил, когда видели его силу. Кулаки у него были огромные.

Жена парикмахера убежала в другую комнату, чтобы не видеть, и, закрывая ладонями лицо, ойкала там с каждым слышимым ударом. Когда парикмахер уполз под фикус, Большаков его вытащил, ударив так, чтобы в ту сторону больше не полз. Ногами Большаков не бил. Вероятно, он знал, что может убить; он и руками-то бил вполсилы. «Хватит, Вячеслав Петрович», – взмолился даже и Рафик: красивый его вражина и соперник валялся на полу в самом жутком виде. «Хватит, Вячеслав Петрович...» – «Погоди – немного его кольну». Большаков несильно ткнул лежащего в ягодицу ножом, который он как-то очень быстро и ловко извлек из кармана. Красавчик парикмахер лежал на животе. Руками он обхватил голову. Когда кольнули в зад, парикмахер взвизгнул, однако не повернулся и голову не приоткрыл, как не приоткрывают уязвимое место. Его еще кольнули. Он опять взвизгнул и опять держал руки на голове. И ждал, когда насытившиеся расправой и его унижением они уйдут.

Они ушли.

В бараке, как бы продолжая вечер, они все вместе вновь сидели у Большакова; Шурочка все еще была как онемевшая – она и пришла машинально, и машинально села за стол. Сидели кружком. Выпивали. Расчувствовавшийся Большаков пустил по рукам фотографии, присланные ему из дома: там всюду был его младший сын, только что женившийся. Похожий на Большакова молодой человек в полупоклоне и нарядно одетый, надевал своей молодой жене колечко на палец. Была фотография с шампанским. Была с родней. Была фотография, где молодые, покинув наконец загосковскую территорию, садятся в машину с лентами. Эта и впрямь понравилась Куренкову, на фотографии был виден кусок московской улицы – вроде бы очень знакомые дома и палатка вдалеке, кажется, пивная. Разглядывая, хвалили парня, хвалили и невесту, даже и родню одобрили, когда Куренков, остро затосковавший, вдруг сорвался:

– Ну хватит, хватит – чего это вы зад ему лижете?

– Кому? – спросил Рафик.

– Кому, кому – обезьяне этой. – Куренков произнес негромко, но четко и в тишине.

Большаков слышал, как слышали все. Не сдержавшийся Куренков тут же и вышел, бахнув дверь в гнев то ли на себя, то ли на весь род человеческий, а Шурочка, конечно, помчалась за ним. Она нагнала его здесь же, в коридоре барака: он открывал дверь в комнату.

Шурочка не спала ночь. Подрагивающая, она вся была в тревоге, а назавтра ей было уезжать. Она целовала его, губы тряслись. Лежа рядом, Шурочка то приказывала ему, то слезно просила:

– Толик, сдержись... Ради дочки нашей, слышишь, Толик?!

Он обещал. Он говорил – ладно, ладно. Шурочка то ласкала и нашептывала, то грозила. Она вдруг кричала в тишине спящего барака:

– Смотри мне!..

Утром перед отъездом Шурочка пошла по начальству. Она просила перевести Куренкова в другой барак или даже в другое поселение, пусть совсем глухое. Она не сгупила: она ни на кого не капала, лишь объясняла, что ее Куренков томится на одном месте, томится, мол, и нервничает, возможен срыв. Те удивлялись: да что вы – он, мол, у нас такой смирный, лучше не бывает. Но Шурочка стояла на своем. Шурочка не знала порядков, но знала, что она хорошенькая, и что мужикам нравится, и что одета она по-столичному, а не как-нибудь. Она поулыбалась, она и слезу пустила. Короче, ей пообещали.

Но, когда она вернулась, окрыленная, чтобы с Куренковым поговорить и дать ему последний наказ, там, в бараке, уже произошла драка, в которой ее смирный Толик и Большаков обменялись ножевыми ударами. Это было утреннее мгновенно вспыхнувшее и прекратившееся столкновение, оба шли по коридору барака навстречу друг другу, и Толик ударил пер-

вым. Можно сказать, что они ударили одновременно. Их растащили. Сразу же выяснилось, что Куренков отделался легче – удар пришелся в плечо, притом что рукой он более или менее свободно двигал. Большакову, хотя и неглубоко, попало в живот. Их не очень-то и оттаскивали, они разошлись сами, боясь шума и огласки. Каждый сидел в своей комнате.

– Как ты мог?! Как ты мог, Толик?! – корила его Шурочка, а он сидел на постели, виноватый, притихший. После срыва он сразу ослабел: и физически, и нравственно. Он жалобно каялся: да, мол, случилось. Он бормотал что-то вроде того, что, не ударь он первым, было бы хуже.

Шурочка плакала:

– Ты же обещал, Толик.

Удалось скрыть. Куренков вышел на работу, а Большаков отлеживался в своей комнате, где бывший фельдшер Тетерин промыл ему рану, перевязал и три-четыре дня поколол антибиотиками. Шурочка нервничала: она уезжала и не могла знать, чем все кончится. Задержаться она была не вправе, ей уже предьявили пропуск на выезд.

Вылежавший три дня будто бы с простудой Большаков переменялся. Он размяк, все время просил через других передать Куренкову, что никакого зла он на Толика не держит, да и не держал никогда, неужели же Толик этого не знает. Куренков, вкручивая медные краны и гремя ключами, когда ему передавали, сплевывал, пусть, мол, не трясется, не трону я его больше, очень он мне нужен, дерьмо такое. Обошлось и дальше. Все вели себя тихо и осторожно, всем хотелось домой. Было ясно, что за ножевую драку им бы всем добавили без разбору. Отмечаться в отделение милиции температурающий Большаков ходил сам, без провожающего, выказав изрядную волю.

Какой-то слушок о драке все же просочился, а может быть, подействовала просьба Шурочки, так или иначе Куренкова и впрямь вскоре перевели. Его поселили в совсем уж захудалый сибирский городок. Переведен он был без порицаний. Это могло быть и простым совпадением: из захудалого городишки пришел запрос на нескольких квалифицированных следсарей. Расставшийся с Большаковым и его компанией, Куренков написал Шурочке с нового места письмо; он написал, что здесь куда лучше. Место было ему по душе. Он написал, что барак такой же и работа та же, но место красивое, совсем тихое. Была приложена и фотография. Толик округлился, поправился, что было для Шурочки главной теперь приметой. Фото подтверждало. И все же она написала ему: ты, мол, у меня смотри, Куренков!

Шурочка написала ему также о том, что Галя, их дочка, подросла и что ей предстоит по окончании восьмилетки первый выбор – может быть, она будет кончать десять, а может быть, пойдет в вечерний техникум. А если уж работать, не пойти ли ей в телевизионное ателье, где и Шурочка; работа неплохая, чистая. Письмо становилось бесконечным. Шурочка написала и про друзей, которые передают приветы и ждут его возвращения, теперь уже скорого. Она написала, конечно, про Алика Зимина, у которого родился второй сын. Она написала про Гену Скобелева и даже про Маринку Князеву, у которой денежный новый сожитель.

Не написала Шурочка про другое: про то, что она подурнела. Женщина пухленькая, аккуратная лицом и чистая, Шурочка не была красавицей; она была из тех миловидных женщин, что в тридцать четыре – тридцать пять лет вдруг стареют, иногда по необъяснимой причине. Возможно, сказались заботы. Как-то разом утратив свой игривый облик, Шурочка и подурнела, и растолстела излишне. «Обабилась», – говорила она, проходя мимо зеркала в прихожей. Любовь с Пановым тоже закончилась. Можно было считать, что они расстались. Шурочка часто плакала.

Панов хотел с ней видаться все реже, а в последнее время уже с постоянством повторял о своей занятости, хотя Шурочка знала, что его жена с детьми сейчас в отъезде и что удобнее и

лучше времени, чтобы поговорить о последнем письме Толика, не будет. И разве она не ценила в Панове прежде всего умного человека? В конце концов, она привыкла с ним советоваться, больше ей не с кем. После нескольких упорных ее звонков кинокритик поговорить согласился, но не иначе как сидя где-нибудь на скамейке в одном из сквериков. А была весна: скамейки едва-едва просохли после капли и мокрых дней. Скамейки еще помнили снег. Слушал Панов Шурочку нехотя, письмо прочитал без интереса, только глазами поводил по строчкам. И сказал:

– У него своя судьба... – И добавил: – Ты напрасно, Шура, так переживаешь и мучаешься за него.

Задушевного разговора не получилось. Шурочка не выговорила и была как больная, а пойти было не к кому. С друзьями своими, с компанией Алика Зимина и Маринки Князевой, общение было слишком привычное и бытовое, да и не было в них умения вести пронизательный разговор. Не умели они вникать в психологию – тот или иной поступок. Они позвали бы к себе, сказали бы «плюнь на все» и выставили бутылку водки. В лучшем случае Маринка сходила бы с Шурочкой в кино. Это Шурочка могла и сама. Этого ей было не надо. За Шурочкой многие были не прочь поухаживать и в дружбу лезли, но ведь она любила того, кого любила. Она привыкла к его седеющим усам, к его голосу, – и однако же с Пановым был уже конец, был итог, и в горечи Шурочка думала, не сойтись ли, скажем, с журналистом Тереховым – он был тоже интеллигентен и, кажется, умен. В последнее время без конца принося и унося свой телевизор «Электроника», Терехов вкрадчиво улыбался Шурочке, в глазах было знакомое, вполне понятное – да и не он один, были другие, разные, работа в ателье давала не только возможность общаться с интеллигентными людьми, но и выбрать из них. Но будет ли с Тереховым так же? Шурочку смущала сама перемена. Шагнуть в сторону непросто. Еще больше смущала перемена в ней самой: утратившая внешность, она утратила былую в себе уверенность. Этот умный Терехов побудет с ней раз-другой, на том и кончится.

– ...Пойду я. Жарко что-то сидеть, – с обидой сказала Шурочка, забирая из его рук письмо и вставая со скамейки.

Панов согласился:

– Да, парит. Весна жаркая.

На дне рождения у жены Гены Скобелева без повода, что называется, на ровном месте Шурочка вдруг разрыдалась. Друзья детства все повскакивали с мест и утешали ее: кто совал валерьянку, кто говорил – хлобыстни полстакана беленькой. Они не любили, когда свои плачут. Они было даже скомкали празднество, но она твердо сказала: нет-нет, будем продолжать. Застолье продолжалось, но теперь пили за Толика, за его возвращение, за Шурочку, будто день рождения был ее днем, а не жены Гены Скобелева. Апельсины, лежавшие горкой, потускнели. И песни, когда Алик Зимин заиграл на саксофоне, пели грустные. Пели о том, как скучают, как тоскуют, как ждут любимого человека и тому подобное.

Возможно, слезы на дне рождения были как бы предчувствием, потому что на третий, что ли, день она получила от Толика письмо, которое ей не понравилось. Письмо было совсем коротенькое и сухое. Шурочка тут же послала ответное письмо, где после многих ласковых слов вывела крупно их обычный возглас: «Ты, Куренков, у меня смотри!..» – и был это слезный крик через расстояние, мольба.

5

Предчувствие продолжало мучить: ночами Шурочка просыпалась от стискивающегося сердца или стремительно вскидывалась вдруг в постели неясно зачем. Поговорить было не с кем. Днем в ателье было одиноко до слез. Она стояла на приемке, народ после обеда пошел вялый, совсем неинтересный, а то и склочный. На трех крупных телевизионных экранах, из которых в середине цветной, показывали приручение дельфина и объясняли, что этот дельфин уже понимает человека. Дельфин прыгал через обруч. А так как три телевизора стояли рядом, получалось, что сразу три дельфина (в середине – бело-голубой) слаженно и четко прыгали через обручи. Казалось, что сразу три дельфина уже понимают человека.

Со слов мастера Шурочка записывала поломки. Она выписывала квитанцию за квитанцией. Народ шел. Народ нес. К горлу подкатила тошнота, и Шурочка поняла, что ей уже неважно. Улучив минуту, она ушла, по ту сторону прилавка среди клиентов возникло недовольство, которое скоро перейдет в крики. Но Шурочка решила, что пусть покричат.

Шурочка пошла к старшему мастеру: попросила отпустить. Она заплакала и рассказала про предчувствие – попросила дать ей съездить навестить мужа.

– Но ты ж совсем недавно ездила. И охота тратиться – туда и обратно, дорога какая!

Мастер поворчал, но согласился:

– Поезжай.

Вечером Шурочка зашла к бывалому соседу Туковскому Виктору Викторовичу, который когда-то сам был зэком. Он жил двумя этажами ниже. Шурочка зашла просто так, от слабости, а получилось вдруг хорошо, хотя ничего хорошего в конце такого тоскливого дня она уже не ожидала. Седой Туковский и его жена, тоже седенькая, приняли Шурочку тепло и дружески, в них оказалась определенная интеллигентность. Они напоили чаем с печеньем, и она просидела у них весь вечер, то плача, то с жаром рассказывая о Толике. За долгое время она впервые выговорилась.

Она упирала на свое предчувствие: сердце ее никогда не обманывало, она точно знает, что Толику сейчас плохо, и потому хочет поехать. Она уже собралась.

– Выпейте еще чашечку чая, милая Шура, – ласково ухаживала за ней жена Туковского.

Туковский же, выслушав ее до конца, сделался мрачен:

– Не так важно, что он опять с кем-то сцепился, а важно – с кем именно.

– Да, да, – поддакивала Шурочка.

– Важно, чтобы он не напоролся.

Туковский пояснил: даже, мол, удивительно, что с таким своеобразным характером он до сих пор умудрился остаться живым и невредимым там, среди всякого рода блатных, сявок и паханов. Там ведь не так, как на воле. Там проще. И как только он на настоящего напорется – конец. Ему раньше просто везло. Эти Большаков и Рафик, про которых она рассказывала, это шушера – это, мол, обычные дурачки, нестрашные и куражливые. Туковский закурил.

Когда жена на минуту вышла, чтобы заварить новый чайник, Туковский тихо и как дочери сказал:

– Несчастливая ты, Шурочка. Боюсь, не вернется он живым.

Он сказал как в воду глядел. Он еще спросил:

– Сколько ему быть там осталось?

– Четыре месяца и десять дней.

Он даже присвистнул – ого, мол.

Дочери Шурочка сказала: еду, мол, к отцу, что передать? – и дочь, как и в прошлый отъезд, покраснела и промолчала. Она вытянулась за этот год и стала неуклюжей. Она уже все

понимала. Покрасневшая, она быстро ушла в свою комнату: уже и второй год шел, а она все стеснялась отца-зэка.

Оформить отъезд Шурочке удалось быстро, но, поскольку отпуск был у нее израсходован, ее отпустили на десять дней за свой счет. Восемь дней в пути – это туда и обратно. И два дня там.

Туковский не ошибся: Шурочка в эти два дня видела своего Толика в последний раз.

Этот глухой городишко лучше было назвать поселком. Впрочем, барак был как барак, обычный, разгороженный на небольшие комнаты, а за перегородкой, как и в прошлый Шурочкин приезд, кто-то шумел и, нет-нет, бранился. Точь-в-точь и кровати стояли, и даже серое одеяло с двумя поперечными полосками было будто снятое под копирку с тех одеял, – так что удивить могло только одиночество Куренкова. Оно и удивило. Ее Толик жил в комнате один, в то время как все остальные жили по двое, а то и по трое. Когда Шурочка, показывая на вторую кровать, спросила, где же сосед, Куренков отмолчался, потом он бубнил, городил что-то невнятное и, лишь когда Шурочка надела, признался:

– Да вот. Не захотел со мной жить.

– Почему?

– Не знаю...

Куренков был подавлен, и лицо, конечно, худое, темное, и Шурочка, конечно, знала все наперед. Опыт как привычка. Шурочка не стала терять времени. Сказав Толику, что заглянет в их магазин, она быстро вышла на улицу. Там огляделась. Ей пришлось спросить и, узнав, пришлось пройти улицей вверх и снова спросить – и вот она пришла. Ей предложили сесть. Ей дали чашку хорошего чая и спросили, как там, в Москве, погода. Все было даже и приятно, кроме главного: приглядеться к Куренкову здешнее начальство не успело, и не понимали они Шурочку. То есть совсем не понимали.

– Тихий, – сказали они. – Ну, ваш-то тихий. Зачем его куда-то переселять?

Второй человек из начальства, что сидел слева, был совсем молоденький, чуткий. Он предложил ей чаю и сказал, чтобы она не волновалась. Опасений нет. Он добавил с улыбкой: вот если б у нас все были такие, как ваш. Да, подумала Шурочка, тихий. Да, подумала, если б у вас все такие были... Она вернулась в барак ничуть не успокоившаяся. Душа ныла, потому что в бараке что-то, незримое, уже надвигалось на ее Толика. В бараке что-то происходило. И Шурочка чувствовала через стены.

Сам же Толик молчал – нет, мол, ничего особенного. Да, поссорился. Да, как обычно, какая тебе разница с кем.

В прошлый приезд столкновение тоже нарастало исподволь, но хотя бы внешне люди вокруг были видны и были понятны. Здесь он был один. Более того: в бараке его сторонились. Он был словно бы уже меченный кем-то – или кем-то. Против Куренкова было не только задумано или замыслено, но уже и решено, так что даже и подойти к нему или просто закурить с ним – тоже было как клеймо. Он был отгороженный: отделенный. И когда Куренков шел по коридору, с Шурочкой ли, один ли, шедшие навстречу смотрели мимо, будто Толика вовсе не было. Шурочка все видела сама. Ни один не поздоровался. Ни один не кивнул.

Вот уж точно, что весь день они провели вдвоем. Они несколько раз выходили пройтись. А затем опять сидели в комнате.

– Толик, – просила Шурочка, – я же тебя хорошо знаю, расскажи, что и как вышло...

И еще просила:

– Толик, не первый же раз.

Он лишь рукой махнул – долго, мол, и нет смысла рассказывать. Помолчав, Шурочка заговорила сама. Она вдруг оживилась. Она рассказала о друзьях, о том, как собирались недавно у Скобелевых. Она рассказала о покупках и тратах и рассказала о дочке, у которой

появился паренек, в кино ходят, девица-то подрастает, глядишь, будем с тобой дед и бабка. «Я, Толик, сильно подурнела за этот год, так что уж вполне в бабки гожусь». И тут Шурочка, как это умеют женщины, вновь ласково и внезапно попросила:

– Толик, расскажи...

Но Куренков молчал.

Она попробовала слезой, попробовала нажимом, – ругнувшись, он в конце концов прикрикнул:

– Отстань же!

– Завтра уезжаю, – сказала она. (И напоминание, и последний нажим.)

Он не ответил.

– Завтра, Толик...

А он сказал:

– Давай в кино сходим.

Клуб размещался в маленьком сером бараке, людей было мало; массового зрителя составляли в основном мальчишки, что гоняли на закате футбольный мяч. Высунув голову, кино-механик закричал: «Эй, люди, вали на сеанс!» «Сам вали!» – откликнулся кто-то, но затем с лентой собравшиеся пятнадцать-двадцать человек все же побрели на фильм, и Куренков с Шурочкой в их числе. Зал оказался совсем паршивый (никакого, конечно, сравнения ни с их районом, ни даже с тем сибирским городишком, где Куренков отбывал прежде), и Шурочка вдруг затосковала. Шурочка подумала: как же живет здесь Толик?

Любившая кино Шурочка сумела отвлечься лишь к середине фильма. Отец там ездил на яхте, потом отправлялся осмотреть плантации – неожиданно он узнал своего ребенка, прижитого на стороне; в свое время он ребенка не любил, а теперь вот полюбил, – Шурочка даже слезупустила. Шурочка не отрывала глаз, она расчувствовалась бы еще больше, но ей мешали. Какая-то девка, сидевшая сзади, лузгала семечки, сплевывая шелуху как бы специально Шурочке за ворот. Зал был почти пуст. С семечками можно было сесть поодаль. «Вы ведь не в сарае!» – негромко заметила ей Шурочка, а девка, сидевшая с парнем, огрызнулась. Ее парень засмеялся. Плевки прекратились, но чуть позже, среди музыки и в минуту самой лирической сцены, к девке пришло, видно, забытье, шелуха вновь полетела на плечи, на голову и за ворот Шурочке. Шурочка осердилась. И вдвойне осердился Куренков; откинувшись резко назад, он ухватил малого за грудь: «Да объясни ты своей дурынде – я сейчас так харкну, что она год не отмоеется!» Он не то прошипел, не то прохрипел, и Шурочка не узнала его голос. Шурочка притихла. Ее Толик, такой деликатный, стал груб. Тем временем старушка билетерша засвистела в мелкий свисток. Включили свет. Появился милиционер. Девка с парнем нехотя пересели в левую половину зала, почти совсем пустую. Свет погас, и механик, чтобы люди не упустили содержания, закрутил фильм сначала. Шурочка раз или два все же оглянулась – девка опять плевала шелуху, но уже в пустоту; перед ней никого не было, и в лучах проектора семечная шелуха летела непрерывающимся фонтаном. И все же из зала Шурочка вышла, в общем, довольная и размягченная; она любила кино.

– Толик, – сказала она, – неплохая ж картина. Ты чего молчишь?

Он сказал, что да, неплохая. Он как-то слишком быстро согласился. Они шагали рядом и молчали. А ведь раньше Толик очень любил порассуждать о фильме.

Они вернулись в барак; казенная и неудобная комната порадовать не могла, но они выпили бутылку хорошего вина, которое Шурочка привезла, погасили свет и легли. Они легли рано. Они хотели побыть друг с другом: долго-долго лежали рядом. Но и тут Шурочку вдруг доставал страх. «Толик, а у нас дверь заперта?» – «Заперта». За перегородками (и с той стороны комнаты, и с этой) был слышен шум, голоса. По коридору барака тоже кто-то шастал, был слышен скрип ботинок, и Шурочка, обмирая, нет-нет и малодушно думала, что ходит тот неизвестный человек. Тот, который так страшен, что люди вокруг не только не хотят помочь ее Толику, а

даже и подойти боятся, даже поздороваться, как бы не прогневить. Она пыталась представить себе его лицо. Ей казалось, что тот человек живет в самом конце коридора напротив умывальника, в комнате с некрашеной дверью и с номером семь; ей хотелось хотя бы что-то знать. «Толик, а как он выглядит?» – спросила она вдруг. Куренков не ответил. Он мягко тронул рукой ее губы и сказал: «Тише...» Он закурил.

– Толик, мне зябко.

– Здесь осталось. Допьем? – Он ощупью, но ловко разлил в темноте вино. Осторожно найдя рука руку, они чокнулись стаканами. Он покурив еще. Он ласково поглаживал Шурочке висок, а она, молчащая, стала припоминать людей – их лица. Тех, кого видела мельком, когда они шли к умывальнику с полотенцами на шее. И вот в повторе памяти они шли и шли, как в кино, а Шурочка рассматривала: лица были неотчетливы. Под мелькание этих лиц и покачивание при шаге полотенца она заснула.

Проснулась без причины. Она открыла глаза – было темно, было мрачно (не сразу поняла, где она), но Толик был рядом, Толик не спал, и она, млеющая, зашептала: идем, Толик, походим по улице, идем...

– Как – походим? – спросил он. – Ночь ведь.

– А ничего, – шептала она ласково, – гуляли же мы в молодости ночью.

Они стали одеваться. Было нехолодно. В самом деле, думала Шурочка, уж завтра уезжать, времени у нас мало, а погулять – значит побыть вдвоем. Она хотела, чтобы Толику было хорошо. Лес начинался почти сразу за домами. Фонарей не было – темные улочки и ряды домиков с заборами едва угадывались в свете луны. Шурочка вновь заговорила о друзьях, которые его там, дома, помнили и ждали, но Куренков все молчал, так что Шурочка даже рассердилась вдруг.

– Да что ты, – сказала, – вареный какой-то!

Голос ее стал мягче:

– Встряхнись, Толик. Всего-то три-четыре месяца – и дома будешь. И пивка с ребятами попьешь в палатке!

Он кивнул: да, мол, всего четыре месяца. Они шли и шли, и Шурочка чувствовала, что ноги уже устали.

На опушке они повернули и вновь в прогале темных кустов увидели домик, окно там горело, а за занавеской кто-то играл на гармошке. Подошли. Толик предупредил, что народ тут серьезный, крепкий, на поселенных эков косятся, даже и берданку в доме держат, будто бы для охоты. «О, господи!» – вырвалось у Шурочки. «Их можно понять...» – сказал Куренков. Но ночь была тихая, и сам же он подошел к домику совсем близко. Он облокотился о забор, слушая тоскливую гармошку. Шурочка прижалась к нему. Куренков закурил. Но небо тут очистилось, луна висела как апельсин, и, вдруг почуявшая, взлаяла собака. Она проснулась от луны; она лаяла неудержимо и зло. Игра прекратилась, после чего бросивший гармошку вышел и гаркнул грубым голосом, так непохожим на печальную мелодию: «Кто тут?!» Тишина повисла долгая, и только шелестели листья. Чувствовалась прохлада. Куренков и Шурочка шли, не отвечая.

Когда подошли к бараку, Шурочка почувствовала, что усталость отступила – и сон отступил. Она обрадовалась. Она стала шутить, а едва легли, она уже ластилась: «Толик, я не хочу спать ни на грамм!» Она решила: пусть ему будет приятно, не каждую же ночь она здесь. Шурочка так расстаралась и вошла в азарт, что они уснули совсем уж усталые.

Когда Куренков вышел прикупить хлеба, Шурочка впала в задумчивость. Она вдруг поднялась и быстро обыскала казенное его жильё, искать было проще простого, и конечно, она скоро нашла нож, завернутый в тряпицу. Она охнула. Она смотрела на серую тряпицу и не знала, как быть. Она хотела сразу же выбросить, но подумала: а если к нему придут, если нет выхода, а он будет искать по всей комнате, искать и метаться. Не сделать бы хуже. Она жен-

щина, что она понимает... Вновь завернув нож в тряпку, она положила на место. Она сидела, плакала, и вернувшийся с хлебом Куренков сказал:

– Ну-ну, перестань. Чего ты?

Выплакавшись, Шурочка снова задумалась. Она стала просить его. Она ни разу не повысила голос:

– Толик, прошу тебя, не связывайся с ним – обойди, уступи, ты же не мальчишка, Толик...

– Ладно. Я постараюсь, – пообещал он.

А получасом позже попросил:

– Я тут... насчет баньки договорился. Потрешь мне спину?

У Шурочки так и екнуло – она опять заплакала. Конечно, Толик, сказала она, конечно. Времени было в обрез. Шли обеденные часы, а уже вечером Шурочке было обязательно сесть в автобус, который бесконечно долго будет ее трясти к поезду.

Насчет бани Толик договорился в одном частном домике, за все дела там давался рубль. Шурочка похвалила и как-никак баня отдельная, и недорого. Старую бабу, которая для них баню свою уже протопила, Шурочка тоже похвалила за чистоту. Шурочка дала ей не рубль, а два, после чего старуха ушла. Банька, и верно, была опрятная, пахнувшая забытыми запахами хвои вперемешку с березой. Шурочка обрадовалась, и даже на нее напала игривость, какая бывает после долгих, унылых раздумий; когда раздевались, она пошутила: а нет ли, Толик, наколок каких? Не обзавелся ли красивыми женщинами на ягодицах, сейчас, мол, проверю. И Шурочка оглянулась. Он сидел на лавке уже раздетый, безучастный.

– Толя.

Он не пошевелился, он словно продолжал тяжело думать.

– Толя...

Сердце у Шурочки сжалось. Он был худой-худой, он никогда таким не был. Лицо было темное. И тело темное. Шурочка почувствовала, что больше его не увидит. Она уже тогда почувствовала.

– Горе ты мое... горе мое! – заплакала, запричитала она.

Такая была банная минута: худющий, весь какой-то маленький, он сидел на лавке, а поодаль, заливаясь слезами, стояла Шурочка, раздобревшая и белая. Она всегда была полной, теперь она была толстухой, и вот с плачем она кинулась к нему, всем своим большим белым телом стараясь словно бы пригреть его, огородить и защитить. Пар был густ. Стало жарко. А Куренков все сидел, будто бы замерз. Он сидел не шелохнувшись и коленки стиснул, как стесняющийся. Руки – худые – он держал на коленях.

Шурочка помыла его, он был как задумавшийся ребенок, как ребенку она и помогла ему, потеряла спину и дважды промыла голову. Затем она помылась сама. Когда вышли, Шурочка вынула гребень и расчесала ему волосы. Ветер колыхал их, подсушивая. Ветер был несильный. Волосы у него сделались шелковистые, он шел рядом с ней чистый и распрямившийся. Теперь он улыбался.

В барак он забежал один, взял Шурочкины вещи и пошел ее проводить. Они сразу пошли к автобусу, потому что времени оставалось не более получаса.

Ключарев и Алимускин

1

Человек заметил вдруг, что чем более везет в жизни ему, тем менее везет некоему другому человеку, – заметил он это случайно и даже неожиданно. Человеку это не понравилось. Он не был такой уж отчужденный, чтобы праздновать праздник, когда за стеной надсадно плачут. А получалось именно так или почти так. И ничего переиначить и переменить он не мог, потому что не все можно переменить и переиначить. И тогда он стал привыкать.

Однажды он не выдержал и пришел к тому, к другому человеку и сказал:

– Мне везет, а тебе не везет... Это меня угнетает. И мешает мне жить.

Тот, которому не везло, не понял. И не поверил.

– Ерунда, – ответил он. – Это вещи, не связанные между собой. Мне и впрямь не везет, но ты тут ни при чем.

– И все-таки меня это мучит.

– Ерунда... Не думай об этом. Живи спокойно.

Он ушел. И продолжал жить. И отчасти продолжал мучиться, потому что тому, другому человеку делалось все хуже. А ему везло. Ему всегда светило солнце, улыбались женщины, попадались покладистые начальники, и в семье тоже была тишь и гладь. И тогда он затеял мысленный разговор с Богом.

– Это несправедливо, – сказал он. – Получается, что счастье одному человеку выпадает за счет несчастья другого.

А Бог спросил:

– Почему же несправедливо?

– Потому что жестоко.

Бог подумал-подумал, потом вздохнул:

– Счастья мало.

– Мало?

– Ну да... Попробуй-ка одним одеялом укрыть восемь человек. Много ли достанется каждому? – И Бог улетел. Бог исчез и не дал ответа или же дал такой ответ, который ничего не значит. Он как бы отшутился.

И тогда человек перестал думать об этом – в конце концов, сколько можно думать об одном и том же? В конце концов, это утомляет. Вот, собственно, и вся история. Но тут важны подробности... Ключарев был научный сотрудник, кажется, математик – да, именно математик. Семья у него была обычная. И квартира обычная. И жизнь тоже, в общем, была вполне обычная – чередование светлых и темных полос приводило к некой срединности и сумме, которую и называют словами «обычная жизнь».

Из этой «обычности» Ключарева выделяло, пожалуй, то, что он был несколько манерно шутлив. Однажды по дороге с работы домой он нашел на тропе, в снегу, кошелек с десятью, что ли, рублями. Он тут же сказал самому себе:

– Поздравляю. Ради этого стоило жить.

Улыбаясь, Ключарев здесь же написал обычное объявление – так, мол, и так, кошелек найден, потерявший – приди. И дописал внизу свой адрес. Бумажку эту он нанизал на гвоздик доски объявлений ближайшего дома. Была зима – чтобы написать и нанизать бумажку на гвоздик, ему пришлось поставить портфель в снег. Нанизанный листочек трепался на ветру, но держался крепко. А в том, что ни сегодня, ни завтра по объявлению никто не пришел, удивительного не было – куда удивительнее было то, что на следующий день начальник отдела,

брюзга, зажимщик и явный недоброжелатель предложил вдруг Ключареву поместить статью в крупный научный журнал. При этом в соавторы начальник не напрашивался. Именно поэтому Ключарев, вернувшись домой, уже с порога сказал жене:

– У меня началась полоса везения.

А жена Ключарева была женщина тихая и скромная, и потому везения, какого бы то ни было, она стеснялась и даже пугалась. Она, например, очень переживала, когда никто не явился за кошельком.

Вечером, чуть позже, жена сказала Ключареву, что у нее есть новость. Она о ней забыла, но теперь вспомнила.

– А-а, – засмеялся Ключарев, – звонила твоя подруга?

– Да.

– Правда, я смысленный? – Это был шуточный выпад. Выпад был нацелен в некую женщину, с которой жена когда-то работала и дружила и которая до сих пор по инерции считалась подругой жены. Уже давным-давно они работали в разных местах, и уже давным-давно жена ее не видела. Однако время от времени женщины перезванивались по телефону. Они говорили о детях. Или о покупках. Они перезванивались все реже и реже. Под влиянием времени этот остаток женской дружбы скоро должен был совсем сойти на нет и умереть, но до поры он жил, скрученный в телефонном шнуре.

Жена замолчала – ей было досадно, что дружба с подругой сходит на нет и что над их телефонным общением уже подсмеивается муж. Чтобы смягчить, Ключарев переспросил:

– Что же за новость?

И тогда жена сказала, что у Алимущкина на работе неприятности. И вообще Алимущкин *погибает*, так говорят...

– Алимущкин? – Ключарев никак не мог вспомнить, кто это такой. Он только пожал плечами. Он, в общем, уже привык, что его хлопотливая жена готова заботиться о ком угодно. Но потом вспомнил этого человека. Он видел его дважды.

– Алимущкин – это тот, который был такой остроумный и блистательный?

– Тот самый, – сказала жена.

И тут же она добавила: может быть, Ключарев как-нибудь сходит к нему домой, навестит, вот она записала специально его адрес. Голос жены был вполне серьезен. И даже трогателен. Ключарев машинально взял бумажку с адресом и не сдержался, фыркнул. Женщины – прелесть. Только они могли додуматься до такого. Прийти к малознакомому типу и сказать: «Привет, родной, говорят, ты погибаешь?..»

– Но с какой стати я пойду его навещать? Я видел его два раза в жизни.

– А я видела только однажды.

Что и говорить, это был веский довод.

– Согласись, – продолжала атаку жена, – лучше и удобнее, если его навестит мужчина.

– Лучше или хуже, а я не пойду. Некогда.

Ссоры не случилось. Ключаревы были дружной парой.

Жена даже признала, что хватила, пожалуй, лишнего, посылая Ключарева бог знает куда и зачем. И они заговорили о сыне-девятикласснике: сын делал большие успехи в спорте, а точнее, в спортивной гимнастике.

2

Ключарев забыл бы о странной просьбе жены, но этим же вечером случился еще один телефонный разговор. На этот раз сам Ключарев звонил своему приятелю по имени Павел. Как это часто бывает, фраза из одного разговора переходит и кочует в другой. Жизнь фразы коротка, и похоже, что фраза тоже хочет пожить подольше. И вышло так, что вместо приветствия Ключарев шуточно спросил своего приятеля:

– Ну как жизнь – не погибаешь?

Павел ответил – нет, не погибаю, с чего ты взял? Ключарев засмеялся, пришлось пояснить, что это шутка, это просто так, модное слово. У них есть, к примеру, некий Алимужкин, который погибает.

– Алимужкин? – переспросил Павел. – А я с ним вместе работаю.

– Да ну?

(Тесен мир.)

– В смежных комнатах трудимся. – И Павел добавил, что Алимужкин мужик неплохой, но в каком-то загоне. Что-то с ним стряслось. Совершенно не может работать.

– Почему?

– А шут его знает. Он молчун. Я, честно говоря, молчунов обхожу стороной.

Тут они вполне сошлись, Ключарев тоже не любил молчунов.

– Уж лучше пьяницы, – сказал Ключарев. И тут же вновь вспомнил про Алимужкина: – Но, послушай, какой же он молчун, он же был блистательный малый! Он же был так остроумен!..

Павел ответил на это вздохом. А потом ответил глубокой и вечной истиной:

– Был, да сплыл.

В этот же вечер, уже перед сном, Ключарев вышел побродить возле дома – он называл это «проветриться». Он ходил по утоптаным снежным тропинкам, а в голове вертелось: «Был, да сплыл». Возникла вдруг странная мысль: а что, если ему стало везти за счет этого Алимужкина? Он вспомнил о предложении начальника написать статью. Вспомнил о кошельке. И усмехнулся. Мысль, разумеется, была глуповатая. Мысль была секундная и, в общем, игрушечная. Стоял мороз. Над головой были звезды. Он шел, глядя вверх, и думал, что звезд полным-полно, и небо огромно, и звезды эти видели и перевидели столько человеческих удач и неудач, что давным-давно отупели и застыли в своем равнодушии. Им, звездам, наплевать. И не станут они вмешиваться и посылать кому-то удачу, а кому-то неудачу.

Однако и на следующий день выбросить из головы эту мысль Ключареву не удалось, и вот почему. Он был в гостях у Коли Крымова. Уже в прихожей, снимая пальто, он слышал, как там и сям вспархивали такие вот фразы: «Как? Вы не слышали о новой любви Коли Крымова?» – или так: «Сейчас придет новая любовь Коли Крымова», – или даже так, с оттенком балаганного и шуточного окрика: «Поставьте рюмки. Не трожьте бутылку и потерпите. С минуты на минуту должна явиться новая любовь Коли Крымова», – такие вот носились в воздухе шуточки. Мужчины и женщины были лет тридцати пяти, все они считали, что самый лучший способ общаться и веселиться – это подтрунивать над хозяином. Коля Крымов не возражал, ему даже льстило. И вот она пришла. Фамилия ее была Алимужкина. Она была очень красивая женщина.

Ключарев среди общего шума и гама застолья спросил у Коли – не собирается ли тот жениться? Они были друзьями. Коля Крымов (а Алимужкину в это время наперебой угощали, и какой-то поэт надписывал ей свою книгу стихов) ответил: да, собираюсь. Коля Крымов любил четкие формулировки. Он сказал, что лишний раз завести романчик – это похоже на разврат. А лишний раз жениться – это похоже на поиск... Как раз выяснилось, что один из гостей пере-

брал спиртного, и Коля Крымов отправился проводить его и пристроить в такси. Так случился короткий разговор Ключарева с Алимускиной.

Они сидели близко, и меж ними был пустой стул Коли Крымова. Ключарев заговорил с ней от нечего делать. Никаких таких мыслей или мыслишек у него не было. Он спросил:

– Ну что ваш Алимускин?

– Да ну его, – ответила красавица, – твердит одно и то же: погибаю, погибаю...

– Ноет?

– Ныть не ноет, но молчит часами.

Алимускина была как-то дерзко красива. В ней было нечто вызывающее, таких красивых женщин Ключарев не знал никогда, – он видел их, правда, иногда на улице, и они всегда были с кем-то, кто их сопровождал. А иногда сопровождающих было двое.

Получилась пауза, и Алимускина заговорила снова. Ей это ничего не стоило. Язычок у нее был хоть куда, и глядела она смело.

– Сказать вам правду – я разлюбила его. Живу у подруги. Живу сама по себе. Хожу по гостям и развлекаюсь.

Ключарев увидел близко ее глаза. Он спросил:

– А может быть, сначала вы стали жить у подруги и развлекаться, а уже потом он стал погибать?

– Ну что вы! – сказала она. – Как раз наоборот.

И было видно, что она говорит правду. Больше они не разговаривали, и теперь Алимускина говорила с соседом слева. А Ключарев опять вспомнил ту свою мысль. Он думал так: если бы мне и впрямь везло за счет Алимускина, его жена сегодня бы положила на меня глаз. Случай удобный. Но она положила глаз на Колю Крымова. К сожалению.

Он ушел с вечеринки несколько подвыпившим и несколько потерянным. Настроение было ни то ни се. Он думал о том, что скажет теперь жене – он ведь не предупредил ее, что задержится. Он вытащил бумажку с адресом Алимускина – это было близко – и... поехал к нему, чтобы иметь хоть какое-то оправдание. Алимускин спал. Было начало ночи. Приезд, разумеется, был странен, и Ключарев не знал, о чем говорить.

– Спишь?.. А люди говорят – погибаешь, – сказал он как бы даже с укором.

Алимускин молчал, он стоял совершенно заспанный. Он зевнул. Ключарев почувствовал некоторую неловкость и перешел на «вы»:

– Вы меня, надеюсь, помните. Мы ведь знакомы. В библиотеке виделись. И однажды в компании сидели.

Алимускин кивнул:

– Я вспомнил.

Он был совсем сонный. Спыхватившись, он добавил:

– Может, чайку?

– Нет. Я на миг. – Ключарев ответил улыбаясь. Он улыбался как можно дружелюбнее. – Какой там чай. Я и без чая полон по самые уши.

После этого Ключарев ушел.

Когда дома жена стала упрекать, что от него слишком уж несет спиртным, Ключарев рассердился:

– Ну, знаешь! Разве не ты сама меня послала – разужнай да разужнай?.. Дался мне этот Алимускин!.. Из-за него я два часа торчал у Коли Крымова (Ключарев более или менее гибко расположил факты), а потом еще пришлось ехать к Алимускину – малый оказался жив и здоров. В пол-лица румянец. И спит как сурок.

Ключарев шел по коридору, он отключился от работы на минуту, или на две, или даже на десять минут; он считал, что от этого свежеют мозги, и потому шел легким и звонким шагом. Он проходил мимо дверей большого и хорошо обставленного кабинета – и как раз у дверей стояли *сам* и *зам*. Директор НИИ держал шляпу в руках. Зам был чем-то обозлен и что-то доказывал. А директор посмеивался.

Зам случайно скользнул взглядом по проходящему мимо. И сказал:

– Вот вам Ключарев – и способный, и трудолюбивый, и кандидат наук. А вы все еще держите его в научных сотрудниках.

– Может, это вы его держите, – парировал директор. Он посмеивался.

– Я?

– Конечно, вы, – посмеивался директор.

Ключарев встал в шаге от них. Он не навязывался. Он, в общем, шел своим путем. Однако уйти или пройти мимо, когда о тебе говорят вслух и на тебя смотрят, было как-то неудобно.

– Не надо спорить, – сказал он им сдержанно и негромко. – Это я сам себя держу.

Те заулыбались. Им понравилось, что он не навязывается. Директор сказал:

– Я спешу. Ей-богу, я очень спешу, – и пошел к выходу.

Зам догонял его и говорил:

– Ключарева давно пора сделать начальником отдела.

– Ну и сделайте, – отвечал директор.

Часом позже – и это никак не было связано с разговором директора и его зама, это было совсем с *другой стороны* – Ключарев узнал, что его статья принята журналом и вскоре будет опубликована. А дома вечером жена вновь сказала: «Звонила подруга. Есть новость», – и новость эта состояла в том, что беднягу Алимускина бросила жена. Она совсем ушла от него. Разменяла квартиру. Воспользовавшись тем, что Алимускин погибает («Он совершенно безволен! Он все время как заспанный!»), красавица выменяла себе милую однокомнатную квартиру, а полуспящего Алимускина загнала в какую-то сырую комнатуху. Там он и живет. Там он и погибает, сказала жена, и Ключарев не мог не отметить, что его удачи и неудачи Алимускина по-прежнему идут бок о бок.

На следующий вечер по телефону пришла еще новость: беда не ходит одна – Алимускина выгнали с работы. Он что-то там напутал или что-то сделал не так и в придачу выбросил важные бумаги в корзинку для мусора. Они вполне могли отдать его под суд, но пожалели. Они его просто выгнали. Дело было, по-видимому, не в важных бумагах и не в корзинке для мусора, – вялость и бездеятельность Алимускина осточертели уже всем и каждому, а капля переполнила чашу.

– Чем же он живет? – спросил Ключарев. Он не имел в виду духовный мир Алимускина. Он имел в виду – на какие деньги.

– Не знаю, – ответила жена. И именно потому, что не знала, она попросила Ключарева зайти к Алимускину и еще раз поведать. Зайди, сказала, ну что тебе стоит. И напонила: когда-то давно они вместе видели Алимускина в какой-то компании, и Алимускин был самый живой среди всех, он был такой остроумный и блестящий.

Ключарев спросил у жены:

– А если бы он не был остроумный и блестящий, ты бы его сейчас – когда он в беде – не жалела?

– Не знаю.

Ключарев тут же отметил это неуверенное «не знаю» и не без удовольствия сказал:

– А ведь это плохо, моя радость. Ты жалеешь избранных.

Однако женским чутьем она и тут нашла выход. Она ответила:

– Не знаю... Если бы он не был остроумным и блестящим, он был бы каким-то еще. Например, тихим и сентиментальным – такого человека тоже жалко.

И уже утром зам предложил ему стать начальником отдела. Зам предложил это просто и без всяких условий, а Ключарев отказался – он ответил, что не хочет спихивать начальника, с которым плохо ли, хорошо ли, однако много лет работал вместе. Это было правдой. Однако еще большей правдой было то, что Ключарев не хотел сейчас суетиться – он и без того чувствовал, что он в полосе везения и что блага от него не уйдут. У него было ясное, хотя и необъяснимое, ощущение, что кто-то свыше крепко и уверенно натянул вожжи и правит вместо него, Ключарева, и, уж разумеется, этот, который свыше, промаху не даст, он свое дело знает.

– Странно, – переспросил зам, – значит, не хотите быть начальником отдела? Бойтесь ответственности?

– Да, без хлопот легче. Я и так много работаю.

– Мы это знаем.

– Я много работаю, а большего пока не хочу. – Ключарев позволил себе отвечать резко. Он словно пробовал и проверял на прочность свою удачу. В конце концов, он завтра может сказать: а вот теперь хочу. Дозрел. Согласен.

Он пришел к Алимускину. Первое, что он спросил, – как это, друг милый, ты попал в такую конуру? Зачем соглашался разменивать квартиру?.. Алимускин не ответил. Выглядел Алимускин плохо. Он был вял и бездеятелен и явно нездоров. Он проямлил, вглядываясь в лицо Ключарева:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.